Н. Скворцов



О друзьях больших и маленьких







Н. В. СКВОРЦОВ

О друзьях больших и маленьких



ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1959

Художник Ю. А. ТРУПАКОВ

Девчонки

По дороге в свою «мужскую» школу Володя Петров почти каждый день встречал Соню Юрьеву. Раньше они в один детский сад ходили. Да и сейчас мало что изменилось: ребята всего двора, и девочки и мальчики, продолжают кататься на лыжах в Больших оврагах, гурьбой ходить на каток. Но в школу они шли вместе уже только до угла Кузнечной улицы, а затем расходились в разные стороны: мальчики — в двадцать первую, а девочки — в тридцать пятую.

Поговаривали, что в этом году школы обязательно сольют, и перед самым началом учебного года мальчики узнали, что к ним переходят девочки из тридцать пятой.

На Володю и его друзей это не произвело никакого впечатления: переводят, ну и очень хорошо, вместе, всем двором будем в школу ходить.

Но скоро ребята почувствовали, что все это не так-то просто. Математик ни с того ни с сего поговорил с ними о правильном отношении к девочкам.

Директор ходил озабоченный — уж не из-за девчонок ли? И чем только они ему помешали? Ольга Филипповна, классная руководительница, провела беседу о том, что каждая девочка должна быть как сестра. (Ну, какая же Сонька сестра?) А потом Ольга Филипповна спросила строгим голосом, кто будет с девочками сидеть за одной партой. (Ну, это уж кому другому скажите!) Весь класс молчал. Так Ольга Филипповна и ушла, ничего не добившись.



На последней перемене Володя Петров таинственно поманил за собой в конец коридора Мишу Кацмана,

Юрку Кожевникова, Федора Лапина, а Ленька Фомин сам примазался: уж очень любопытно.

—Вот что, ребята,—сказал Вовка, оглядываясь, чтобы кто не подслушал,— завтра давайте сделаем так. Ты, Михаил, пересади Семенова от себя на пятую парту. А ты, Юрий, скажи Ваське, чтобы и он на пятую. У меня тоже будет место свободное. Ты, Ленька, на восьмую давай и рядом место береги. С другими ребятами мы с Мишкой поговорим. И чтобы было десять свободных мест для девочек. Ясно? А ты, Федор, как только придут девочки, встань и скажи: «Здравствуйте, вот ваши места».

Только смотрите — это тайна, и если кто выдаст...

— Я ему выдам! — погрозил Федор Лапин и так грозно взглянул на легкомысленного Леню Фомина, что тот сразу стал оправдываться:

— Что ты, Федька, да разве я когда-нибудь...

На следующий день заговорщики явились в школу чуть ли не за час до занятий. Они в дверях встречали ребят своего класса. Вовка старался втолковать, что к чему, но не всякий понимал всю важность происходящего. Некоторые даже пытались возражать: «Вот еще... с девчонкой-то... как же... так вот и сел...» Тогда на помощь приходил Федька Лапин, доводы которого не были очень пространными, сводились почти к междометиям, но произносились таким рыкающим энергичным басом, что возражавший сразу сникал: «Да мне все равно, что уж ты очень-то?»

И вот в классе тишина. Да и вся школа сегодня какая-то настороженная. Ленька, дежуривший у двери, шарахнулся к своей парте: «Идут!» Оказывается, Ольга Филипповна ведет девочек «организованно» — это любимое ее слово. В класс она вошла немного даже побледневшая. А за нею десять девочек. И Сонька с ними.

И вот Федор поднимается во весь свой рост и бухает: «Привет вам от девятого класса «б». Вот ваши места!»

Бедная Ольга Филипповна чуть не расплакалась. Ведь она готовилась к бою... Никто так и не понял, что она сказала: то ли «молодцы», то ли «мерси» — и вышла.

— Соня! Садись к окну,—пригласил Володя.

— Федор,— спросила со смехом Лилька Смирнова,—ты надолго загромоздил проход? Дай-ка я место займу.

В класс вошел математик Аркадий Ильич. Он почему-то улыбнулся, а потом сказал:

— Вот и прекрасно: теперь вы у меня все вместе. В обоих классах закончили тему... И урок пошел, как корабль у опытного капитана. Хорошо начался год!

Только на второй день в перемену в класс вошел редактор школьной стенной газеты Борис Спицын и озадачил Володю Петрова такой новостью:

— Ты, Вовка, поступил как настоящий комсомолец, и мы о тебе пишем статью. Вот так и надо относиться к девушкам.

Володя вначале растерялся, но потом, перемигнувшись с Федором и Юркой, бросился за Борисом.

Догнав Бориса в конце коридора, ребята плотно обступили его, и Володя трагическим шепотом спросил:

— Борька! Подлецом хочешь быть?

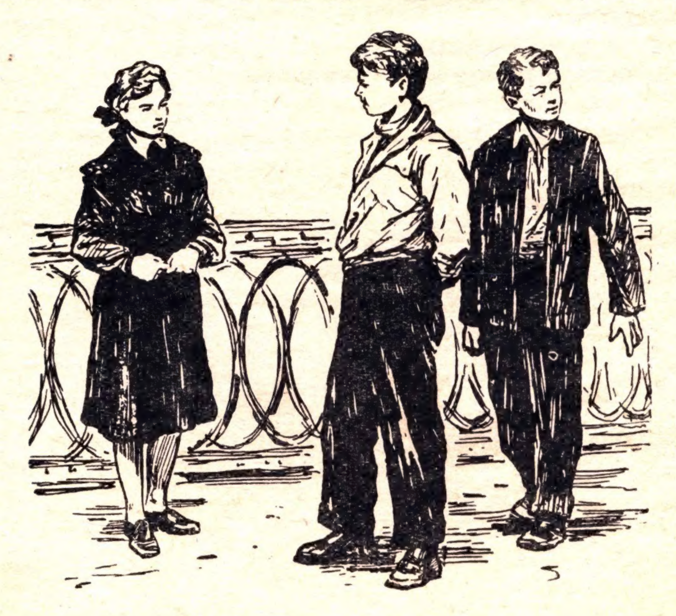
Борис удивленно поглядел на Вовку, хотел что-то возразить. Потом он поднял глаза на гигантов Федора и Юру. Их лица не сулили ему ничего доброго. Борис улыбнулся:

— Ладно,—сказал он,—не будем...

Статьи в газете не появилось.

Евгений Онегин

Уж если говорить начистоту, другие девочки учили литературу затем, чтобы ответить и получить, по возможности, пять. А вот Валя Мирова всё, о чем она читала, воспринимала так, как будто это происходит сейчас, перед ней и обязательно переживала, волновалась. Людей, действующих в произведении, она прежде всего делила на плохих и хороших. Хороших она любила, плохих ненавидела. Она жила одной жизнью с литературными героями и незаметно включала в эту жизнь и окружающих ее людей. Скупой рыцарь? Да вот он! Это нелюдимый старик Дергачев из третьего подъезда. Будьте уверены, что сейчас он крадется к своему сундуку, который где-то (он-то зна-



ет где) спрятан. А вот этот толстяк! Вы не думайте, что это веселый парикмахер с Тобольской улицы,—это Санчо-Панса собственной персоной...



В классе тишина. На уроке литературы даже Генка Родин и Вовка Лебедев сидят тихо. А обычно они строят всякие каверзы. Тот же Генка вчера дернул Валю за косу, а Вовка накапал во все чернильницы конторского клея. Правда, в классе к ним отношение все же хорошее, ребята они неглупые, но в мире, созданном Валей, им места нет. В братья-разбойники они не вышли: уж очень веселы; в романтических произведениях им делать нечего, потому что нежных чувств они, очевидно, лишены. Валя старалась обходить этих неудобных, громоздких парней. Впрочем, они не скучали без ее внимания. Только раз, когда Генка добродушно попросил карандаш, а Валя в ответ лишь взглянула холодно, Генка не на шутку обиделся: «Зазнаешься!»

Урок о Пушкине. Евгений Онегин! Валя вся ушла в прошлое, нет — в свое настоящее. И класса уже нет. Нежные звуки вальса. Плавно кружатся пары мимо белых колонн. Ольга. Татьяна. И вдруг в музыке зазвучали особенно значительные, сладкие и тревожные ноты. И вот входит он, Евгений Онегин!

Но что это? Да, звонок. Валя растерянно оглядывается, вздыхает. Урок окончен...

В перемену Валя была задумчива, молчалива. «И часто целый день одна сидела молча у окна...» Это Татьяна. И Валя сейчас — Татьяна.

Потом была математика. Хорошо, что не спрашивали, потому что Валя все еще была Татьяной и уж, конечно, ей было не до математики. Она незаметно поглядывала на класс и по привычке распределяла роли. Белокурая Симочка уже не Симочка, а Ольга. Но Онегин? Не эти же неудачные разбойники, которые опять что-то затевают за ее спиной! И не Лешка Митин, который уже давно ходит в литературном мире Вали в роли Недоросля. Но—ах! Вот он!

Это—Вадим Оленев.

Он сидит за последней партой, слегка склонив курчавую голову, и чистит ногти. Воротничок его рубашки небрежно распахнут —еще бы только белый пышный галстук,—нижняя губа скучающе вытянута, так, знаете ли, чуть-чуть. И фамилия Оленев, почти Онегин! Валя сидит как зачарованная.

Тут произошла неприятность. Математик вдруг обратился к Вадиму Оленеву с вопросом и, обнаружив, что тот не слушает, поставил ему двойку в журнал. Но это ничего... «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» Опять Онегин. И Валька—слушайте, девочки,—Валька влюбилась в Вадима: ну не сводит с него глаз, да и только. Он это скоро заметил и таким фертом похаживает мимо и на нее не глядит.

Но скоро произошло одно событие, которое всё перевернуло вверх дном.

Вадим «снизошел» наконец и пригласил Валю в кино. Неуклюже так пригласил, будто у него случайно билет лишний оказался. Сеанс окончился в девять. Вадим пошел провожать.

Вышли на откос. Валя — как во сне, и в ушах у нее звучат слова: «Вы мне писали»... и музыка, музыка. А освещение, надо сказать, здесь неважное и народу совсем мало. Но зачем Онегину и Татьяне народ?..

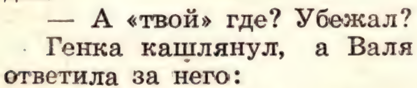
Вдруг перед ними неожиданно возникли две низкорослые, но весьма подозрительные фигуры. Руки у них в карманах, в зубах папиросы, кепки набекрень, маленькие лбы наморщены, брови скучающе вздернуты, походка развинченная, шаркающая. Фигуры обошли наших героев с двух сторон, остановились, прижали их плечами. Что предприняли бы они далее — неизвестно, но Вадим вдруг проявил большую прыть: он молниеносно повернулся и бросился бежать с такой скоростью, что одна «фигура» изумленно раскрыла рот и выронила папиросу. Валя стояла растерянная и обреченная. Что может спасти покинутую Татьяну? Чудо?!

И чудо таки произошло. Из-за угла неожиданно вывернулись Генка Родин и Вовка Лебедев. Они возвращались с того же сеанса и, по обыкновению, громко обсуждали картину. Вовка сообразил первый: «Генка, а ведь это они Вальку!..»



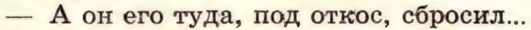
— Что? — рявкнул Генка и подлетел к тому, который казался покрепче... Вовка погнался за другим.

Когда он возвратился, Генка несколько смущенно разговаривал с Валей. Нет, она уже была не Татьяной, а просто Валей и объясняла, что она шла тут «с одним», а эти напали. Несколько запыхавшись, Вовка спросил Геннадия:



— А «твой» где? Убежал?

Генка кашлянул, а Валя ответила за него:



— А он его туда, под откос, сбросил...

Вовка ничего не сказал, только с уважением взглянул на приятеля.

Валю проводили вместе. Разговор был оживленный: о кинокартине, о школьной самодеятельности, о предстоящих лыжных соревнованиях.

После этого вечера Валя просто не замечала Вадима Оленева. И не так, как можно «нарочно» не замечать, а так, как не замечаете вы телеграфный столб или стоящую в углу табуретку. И вообще Валя стала какая-то другая: общительная, веселая.

Когда секретарь школьной комсомольской организации предложил сделать доклад о дружбе и товариществе, то Валя Мирова сама вызвалась его подготовить.

Интересно, о чем она расскажет?

Внушение

Ленька Савельев учится все хуже и хуже. Валерий Семенович уж несколько раз пробирал его. Ну и что же? Леонид стоит, опустив голову, и уныло тянет: «да»... «нет».

Как-то раз Валерий Семенович говорит Жене Зыбиной:

— Леонид — комсомолец. Вы — секретарь бюро. Почему же не займетесь им как следует? Ну, вызовите его, поговорите начистоту, внушите.

Женя немедленно собрала бюро. И вот сидит она, справа — Борис Кудрин, секретарь, слева — Ира Мухина, Иван Фомин, а сбоку на диване важно уселся Федор Дубов, самый сильный парень из всей школы.

Все настроены торжественно и чувствуют себя немного неудобно. Ирочка сбегала за Ленькой. Она, при-



знаться, опасалась, что он не придет. Но Леонид пришел; поглядел на всех — очевидно, понял, зачем позвали — и сразу опустил голову.

— Ну, Леня,— начала Женя,— мы пригласили тебя на бюро обсудить твою успеваемость. Ты учишься все хуже и хуже. Что с тобой происходит? Объясни нам...

Савельев слегка отставил ногу, встал поудобнее, руки отвел за спину, — как видно, приготовился стоять долго. Молчит.

— Почему же ты молчишь?

— А что?

— Ведь ты же комсомолец!—укоризненно говорит Борис.

— Комсомолец...—цедит Ленька.

— Ведь ты хочешь хорошо учиться?—волнуется Ирочка.

— Хочу.

— И ты исправишься?—вмешивается Ваня.

— Исправлюсь.

— Смотри, Леонид, мы тебе запишем в протоколе, что ты обещаешь,— предупреждает Женя.

Молчание.

— Ты в самом деле обещаешь?— кипятится Ира.

— Обещаю.

Ленька всё это говорит с неподвижным лицом, упорно глядя на ножку стола. Федор Дубов невольно посмотрел туда же: кому это там Ленька обещает?

— Скажи, Леня, почему же ты не стараешься?—не унимается Женя.

— Я стараюсь,— равнодушно говорит Ленька, обращаясь все к той же ножке.

Теперь уже молчат все, и только пружины дивана скрипят под Дубовым, как бы предостерегая ножку: «Не верь, зря он, не верь...»

Наконец взрывается Женя. Она вскакивает и кричит:



— Да Ленька! Ну что ты, как мертвый: «исправлюсь, обещаю». Ты хоть ругался бы, что ли! Не могу я, товарищи!

Тут зашумели все. Ирочка подбежала к Леониду.

— Ты нас замучил, Ленька! Что встал истуканом?

Но все звуки перекрыл мощный хохот Федора Дубова, а с ним вместе зазвенел, запел, затрещал развеселившийся диван. Федор ловко подшиб Леньку, схватил его в свои медвежьи лапы, взъерошил ему волосы, повалил на диван.

Когда немного успокоились, Федор сказал:

— Он, ребята, уж так по привычке. Научился, когда его дома пробирали еще маленького, потом перед учителем, перед директором — только и разница, что палец в рот больше не берет. Ты почему по физике не приготовил? Думаешь, я не знаю?

— Федька!

— Вот тебе и Федька. Что от нас скрываешь, или мы не товарищи?

— А что, а что, Федя?—затараторила Ирочка. Но Федор только отмахнулся от нее и продолжал:

— Ребята! Надо помочь Савельеву. У него дома плохо. Отец хворает еще с лета — молчи, Ленька, — у них два малыша, мать работает, а я, дурак, не догадался, вот...

Опять стало тихо. Ваня и Женя, придвинув к дивану стулья, уже сидят вплотную к Савельеву, которого Федор как обнял железной своей рукой, так и забыл отпустить.

— Ты, Лёнь, не обижайся, что я так,—грустно говорила Женя.—Я ведь всё понимаю. Мы зайдем к вам. Ладно? Ну вот и хорошо.

И тут Борис Кудрин — и дернула ж его нелегкая!— спрашивает:

— Товарищи! А что записать в прото...

Но кончить он не успел. Федор молниеносно сгреб его и бросил на диван.

— Федька! Не хулигань!—закричали в один голос Женя и Ира.

Федор добродушно обнял Бориса.

— Не сердись, Борька,—я больше не буду. Да ну же, не сердись.

Пошли, ребята...

Моя подруга

Оля проснулась усталая. Кажется, и не было ночи, и Оля все еще продолжала думать о чем-то неопределенно-грустном, что возникло вчера. Нет, пожалуй, раньше. Это случилось с ней, когда она читала Тургенева, Пушкина, Лермонтова. Почему там так красиво чувствуют, говорят, любят, мечтают? Там тихие заводи, хрустальная тишина, золотые закаты. Где всё это на самом деле? Или ничего этого не было?

Сегодня выходной день. Еще можно полежать.

Но в соседней квартире уже кашляет и кряхтит слесарь Андрей Лукич. Вечером он опять был пьян, и Марковна—так все зовут его жену—долго и громко ругала его. Сейчас слесарь будет выпрашивать у Марковны на водку, а она опять будет кричать, что он изверг, мучитель и что он заел ее жизнь.

Оле жаль расставаться со своей тихой грустью, но шум и суматоха утра уже рвут тишину. Скрежещет трамвай за углом, хлопают двери, гремят кастрюли на общей кухне.

— О чем я? Да, учительница велела написать сочинение «Моя подруга». Что я напишу? Если про Наташку?

Оля сидит с Наташей за одной партой. Вчера Оля спросила: «Наташа, у тебя есть тайна?»—«Что это еще за тайна? Это про любовь, что ли? Вот еще, очень надо!» А потом Оля сказала: «Знаешь, Наташа, давай мечтать, как у Пушкина». А Наташа говорит: «Я, Олька, о лакировках мечтаю, а за Пушкина вот боюсь не получить бы двойку».

«Моя подруга. Какая она будет?»

А на кухне шум. Архитекторша уже обругала за что-то пенсионерку Миронову, и теперь у них пойдет «обмен мнений» на целый день. Слесарь станет их мирить и переругается со всеми.

Мама крикнула Оле, что «хватит валяться». Оля встала, медленно оделась. Как-то тускло, будто в тумане, плыли мимо лица, звуки, события. И вот Оля, присев к окну в своей маленькой комнатке, пишет: «Моя подруга». И она придумывает себе подругу.

«У меня была подруга Нина. Первый раз я встретилась с ней в парке, где она гуляла...»

— Ах, ты, пьяница горький, подавись ты, на, чтоб тебя...—Это Марковна дает слесарю на водку. Ее толстое лицо сейчас, наверное, красное, злое.

Оля продолжает: «...она гуляла с высокой бледной женщиной. Худенькая, стройная, с красивыми тонкими чертами лица, Нина сразу мне понравилась. Русые волосы ее были аккуратно заплетены в косы, голубые большие глаза смотрели немного печально...»

— Сами-то вы хороши! — несется с кухни.— Надела шелковый халат, так думает — за ней все и бросятся!

— Это Марковна — архитекторше, про которую на кухне говорят, что она рядится в пух и прах, и не любят ее за это, и завидуют ей.

Да! «...смотрели немного печально. Одета Нина была скромно: в сером простом платьице, которое очень к ней шло. Мне сразу понравилась эта скромная девочка. Я подсела к ним на скамейку, и мы разговорились...»

Мама послала Олю за хлебом.

Мама очень занята, она живет в каком-то своем большом мире, где «минуты нет свободной». Оля стесняется поговорить с мамой о своих неопределенных мечтах, о своей грусти. Мама хорошая, но ведь не подруга она.

Потом был обед, потом еще что-то, —и шум, шум без конца.

За окном уже сумерки. В снежной дымке и в нагромождении серых силуэтов домов появляются электрические квадраты окон.

Оля склонилась над тетрадкой. Слесарь Андрей Лукич за стеной ужасно скрипит напильником. Он опять пьян и хочет загладить свою вину.

У архитекторши гости, и когда дверь из ее комнаты отворяется, то в общий коридор вырывается громкий говор и какая-то джазовая трескотня.

Оля долго смотрит в черный провал окна и затем медленно пишет: «Подруга моя захворала...»

А ведь это уже второй раз звонят. Один длинный и три коротких. К нам. Оля отпирает дверь.

— Наташа!

— Я, Олька, ненадолго. Что это у вас? Шумят? А почему вы их не уймете? Опять Андрей Лукич? Андрей Лукич! Чем вы так скрипите?

Оле казалось, что с приходом Наташи коридор наполнился чем-то невыразимо бодрым, солнечным, что тени сжались и уползли в самые отдаленные углы. Андрей Лукич с поднятыми на морщинистый лоб очками показался в дверях:

— Что, егоза, редко приходишь? И как это понять: я — не скрипи, а сама — шумишь?

— А вы отдохните, Андрей Лукич. Оля, дай Андрею Лукичу «Новь»: пусть изучает образы Тургенева. До свидания, Андрей Лукич!

Войдя в Олину комнату, Наташа продолжала говорить, двигаться.

— Оля! Закрой дверь. Это кто там отплясывает? У архитекторши? Имей в виду, что после двенадцати шум должны все прекращать. Дала Андрею Лукичу книжку?

— Сейчас, Наташа, сейчас дам. Садись. Да ты раздевайся!

Через минуту Наташа, усевшись рядом с Олей на диван, говорила:

— Ольга! Я пишу про подругу. «Александрушка», знаешь, как спросит? И пишу я ... про тебя. Что? Разве ты мне не подруга?

— Подруга,—смутилась Оля,— ну конечно, подруга,—радостно добавила она.

— Ты помнишь, меня спросила, о чем я мечтаю? Я ведь тогда так, сболтнула. Дай сюда ухо!—и шепотом: — Киноактрисой хочу быть. Ты как? Ведь не смешно это?

— Нет, Наташа.

— Ну, вот. Я же знала, что поймешь.

И, обхватив Олю своими крепкими руками, Наташа закружила ее по комнате.

— Наташка, ты меня задушишь... Ой!—пищала Оля.



О чем говорили подруги целый час,—это их тайна.

У архитекторши угомонились. Слесарь, очевидно, задремал над «Новью».

— Наташа, ты приходи,—застенчиво и тихо просит Оля.

— Олька! Дружба навек. Завтра на каток вместе. Ой, бежать! У меня и половины не написано.

Вдруг Наташа замолчала, какую-то долю секунды колебалась, серьезно и сосредоточенно глядя на Олю (стыдно все-таки), потом поцеловала:

— Дружба!—И Наташины крепкие каблучки защелкали вниз по ступенькам, будто камешки посыпались.

Оля, улыбаясь, прислушивалась, пока все не стихло и там, внизу, не хлопнула дверь, потом прошла в свою комнату, села на диван, закинула руки за голову и долго смотрела в окно. А за окном совершилось чудо. Какое

множество огней! Золотые паучки вереницей расположились на электрических паутинках. Там—сказка, вся в голубом и синем. Подойдя к столу, Оля написала: «Подруга моя выздоровела».

Потом Оля заново переделала всё сочинение, и подруга стала—вылитая Наташа.

Маме, которая придет поздно, Оля оставила записку: «Милая мамочка! Ко мне заходила моя подруга».

Затем Оля погасила огонь, легла в постель.

Золотые паучки стали еще ярче. А если чуть прищурить глаза, то от паучков тянутся длинные золотые ниточки, прямо к тебе, и в них путаются краски, мысли... Наташа... мечты... счастье...

„Имею честь представиться“

Пожалуй, из всех ребят деревни Лыковки Григорий Борисов—самый серьезный и самый неуклюжий: высокий, с покатыми плечами, длинной шеей, с узким лицом, длинноносый, с соломенными волосами и совершенно безбровый. Его сосед, неугомонный Мишка-Чиж дразнил Гришу огородным пугалом. Но учился Григорий всегда хорошо, много читал и пользовался среди ребят уважением. И он любил компанию. Где бы ни собирались мальчишки, всегда среди них торчал, как шест, Гришка, молчаливый, неулыбающийся, но такой привычный, что не приди он, все почувствовали бы, что чего-то не хватает.

Когда Гриша перешел в четвертый класс, отец сказал ему:

— Надо тебя в Сормово к бабушке отвезти: давно она скучает и просит, чтобы внук — ты то есть — у нее пожил. А там, глядишь, и на завод поступишь, как дядя Федор, сормовичом будешь. Думай, брат!

И тот стал думать.

Город! Большой город! Какие дома, какие улицы! А люди! О городских людях у Гриши было представление своеобразное и возвышенное. Всё, о чем он читал в книжках и что не вмещалось в скромную жизнь Лыковки, Гриша причислял к городу. Там и все писатели, и все поэты. И обязательно там люди вежливые, говорят друг другу «вы», «разрешите пройти», «как ваше здоровье», «будьте любезны».

Всему этому Григорий Борисов должен теперь соответствовать. И он не терял времени зря. Когда в тихий августовский день Гриша, провожаемый наставлениями матери, сидел на телеге сзади отца, он был готов к вступлению в город, переполненный до краев благородством, вежливостью, высокими чувствами. Товарищи молча наблюдали за торжественным от-



бытием друга, не решаясь заговорить, а он, сосредоточив в себе сотни оборотов тонкого городского обращения, так и забыл сказать им «до свидания».

Всё это для города!

Бабушка очень обрадовалась приезду внука. Гриша произнес: «Имею честь»,— и... забыл, как дальше!

Старушка крепко обняла его, расцеловала, а он так и не вспомнил.

Бабушка гремела посудой, отец ушел, а затем вернулся уже с дядей Федором. Стало шумно и весело.

И вот бабушка сказала:

— А ты, Гришенька, поди погуляй.

В старом тихом переулке, около маленьких домиков, в стороне от шумных асфальтированных улиц, ребята играли — нет, не в теннис и не в крокет, а в «шармазло». Загорелая ватага шумела и радовалась.

Вдруг перед воротами возникла странная фигура. Было это так необычно, словно на пустом месте мгновенно вырос гигантский мухомор. Игра прекратилась. А «мухомор» торжественно двинулся к ребятам.

Подойдя к Ваське Доронину, который был старше всех, Гриша, важный и строгий, протянул ему руку, держа ее, как рулевое весло, и произнес:

— Здравствуйте! Имею честь представиться.

Васька раскрыл от изумления рот, глаза его сделались круглыми, потом он схватил Григория за козырек и рывком надвинул ему кепку на нос. Вся орава взорвалась хохотом.

Наверное, целый месяц ребята со всего переулка, встречая Гришку, солидно ему кланялись, приветствовали: «Имею честь представиться»,—и покатывались со смеху.

Потом всё наладилось. Но Григорий Борисов внес очень большие «поправки» в тот городской мир, который сам выдумал. Настоящий город оказался проще, роднее и лучше...

Андрей Петрович

Учительница биологии Анна Ивановна уходила на пенсию. Она была в пятом «б» классной руководительницей. Плохо ее слушались. Правда, когда она прощалась с классом, все немного растрогались, а сама Анна Ивановна всех больше.

— Хотя и баловники вы, а мне вас жалко.

— Мы больше не будем!—пробасил с задней парты Семен Ерохин.

— Уж знаю я тебя, Ерохин, чего уж там: на головах ходили. Да ладно! Может быть, и меня когда добрым словом помянете.

А помянули очень скоро.

На другой день в класс зашел директор и сказал:

— Нового к нам биолога назначили, Андрея Петровича. Будет у вас классным руководителем. Очень строгий!—и директор посмотрел так мрачно, будто это на нем начнет новый классный руководитель пробовать свою строгость.



На следующий день напряжение достигло высшей точки: второй урок — биология. На первом уроке была математика, задачи решали очень неважно, но математик не сердился: он, очевидно, понимал, в чем дело.

С утра Ерохин предупредил, что видел нового учителя: «Эх и высокий, и сильный, должно быть, и с усами». После математики точно по звонку все сидели на местах, и только Лешка Зыбин караулил около двери. Учитель задержался минут на пять.

«С директором разговаривает»,— прошипел от двери Лешка.

— Идет! — И Лешка бросился на свое место.

В коридоре послышались спокойные медленные шаги: «скрип, скрип, скрип». И вот решительным рывком новый учитель распахнул дверь. О! действительно высокий, плечистый и с усами. Смотрел Андрей Петрович грозно. И первые его слова раскатились, как львиный рык:

— Почему беспорядок? Ерохин!

— Я что, я ничего! — ошалел Семен.

— Я тебе покажу «ничего».

Андрей Петрович назвал еще несколько фамилий самых озорных ребят, потом прогремел:

— Дежурный! Мел, тряпку!

И как-то удивительно быстро Андрей Петрович начал урок об углекислом газе. Из стола он вынул несложные приборы—оказывается, всё было заранее подготовлено,— спокойно и ясно стал рассказывать и объяснять, а из бутылки шел углекислый газ, наполнял стаканы, гасил свечку. Класс сидел как зачарованный. Но вот Андрей Петрович закончил урок и вдруг опять неожиданно прорычал:

— Ерохин! Кожевников!

— Я что, я ничего...— завел было Семен.

— Убрать!—И Алексей Петрович, бросив на стол ключи, спокойно добавил: — Назначаю вас лаборантами.— А затем быстро вышел, грозно расправив усы.

Новоиспеченные лаборанты растерянно стояли перед столом, а класс, глядя на них, так и помирал со смеху...

Затем Кожевников сказал:

— Ну, Семен, давай! Теперь не разбалуешься! Это тебе не Анна Ивановна!

— Эх, как всё понятно, как интересно. Вот так урок! Ну и ну!—только и слышалось в классе.

На другой день Андрей Петрович пригласил всех, что у Анны Ивановны «на головах ходили», к себе и о чем-то с ними особо поговорил. О чем — это так и осталось тайной. Только много дней спустя ребята вспоминали, что он больше рассказывал им о своих намерениях, о том, какие приборы и пособия надо сде-

лать, какие опыты показать, какие экскурсии провести, и только добавил, что одному ему не справиться.

Скоро все учителя заметили, что баловники из пятого «б» утихомирились: оказалось, что учиться довольно-таки интересно.

Надо сказать, что после первого бурного дня Андрей Петрович ни разу не возвышал голоса, а уроки его были такие увлекательные, что время летело, как в сказке.

Кажется, недели через две новый учитель, пристроившись за партой, вносил поправку в тетрадь Лешки Зыбина. И вот Семен Ерохин, должно быть по старой привычке, выкинул за его спиной какой-то самый маленький из своих трюков. И Андрей Петрович, не оборачиваясь,— и как только он заметил? — рокочущим басом грозно протянул:

— Семочка!—И было это ласкательное «Семочка» применительно к огромному Ерохину так язвительно, как если бы учитель его попросту обругал.

— Я...

— Всё!

На этом разговор и закончился.

Вскоре Андрей Петрович стал спрашивать, и с каждым уроком всё строже.

Однажды отвечал Юрий Кожевников. Вопрос ему достался простой, но Юрка материала не знал и отвечал «на ура». Андрей Петрович молчал, дав полный простор полету Юркиной дикой фантазии. Но через минуту весь класс уже не слушал Юрку, а смотрел на учителя. Андрей Петрович склонился над столом и медленно вел рукой по голове от затылка ко лбу. И вдруг класс, всё внимание которого было приковано к этой руке, неожиданно заметил, что один глаз Андрея Петровича сквозь пальцы смотрит на всех с таким безудержным весельем, что невозможно было терпеть. Такого дружного хохота еще не слыхали в школе! А Андрей Петрович махал руками, кашлял и, наконец, сквозь смех сказал изумленному Юрию:

— Иди, ты нас уморишь!

Этот смех имел большие последствия. Во-первых, теперь никто не выходил отвечать «на ура», а если почему-нибудь не был готов к уроку, то шел к учителю перед уроком и предупреждал его. Андрей Петрович

серьезно выслушивал, даже расспрашивал, а иногда объяснял, как подогнать материал. Во-вторых же, именно на этом маленьком происшествии класс понял, какой добрый человек Андрей Петрович.

А вскоре на классном собрании он сказал:

— Мы собрались сюда дело делать. Шахтер добывает уголь, сталевар сталь варит, машинист глаз не смыкает, ведя тяжелый поезд в ночь, в дождь, в холод. Мое дело учить, а ваше учиться. А если кто вместо ученья будет дурака валять...—вдруг загремел он. Но тут все весело и в один голос закричали: «Учиться, будем учиться!»

Так возникла крепкая дружба.

Неудачная любовь

Классный руководитель девятого класса Андрей Петрович часто бывает в школе в неурочное время. В тихие вечерние часы он возится с приборами — готовит их к очередным урокам. Когда ребята тоже приходят в его кабинет, он не спрашивает — зачем, а просто говорит:

— Подержи. А ты, Алексей, следи за стрелкой. Нина, Вася...— и всем даст дело.

Закончив работу, ребята любят побеседовать немного со своим учителем в комнате отдыха. Иногда он рассказывает о разных событиях, участником которых был. Слушать Андрея Петровича и говорить с ним всегда интересно.

Сегодня в комнате отдыха как-то особенно тихо. Лунный свет струится в большие окна, ложится голубыми прямоугольниками и ромбами на пол, на шкафы, на угол большого стола. Так светло, что кто-то предлагает не зажигать огня.

Андрей Петрович сегодня грустен.

— Ну, друзья, что нового, что читаете?

Нина Васильева сказала:

— Я Гейне читаю. Мне нравятся его стихи. В них про любовь очень много.—И неожиданно спросила:— А вы, Андрей Петрович, как влюбились... ну — когда в первый раз?

Андрей Петрович быстро ответил:

— Помню, хорошо помню. Только любовь моя была неудачная.

Все приготовились слушать печальную историю, но учитель вдруг заулыбался и весело начал:

— Ну, рассказывать, так рассказывать. Я вам всё откровенно.

Был я тогда как раз в вашем возрасте. Приехал тем памятным для меня летом погостить к своей тете

в один тихий городок. Здесь я читал, гулял. Знакомых не было, ходить некуда.

Но вот однажды к тете пришла зачем-то белокурая девушка лет девятнадцати, Анечка. Как оказалось, она работает медицинской сестрой в местной больнице.

Дело было под вечер, и тетушка велела мне проводить Анечку. Впервые в жизни я провожал девушку.

Разговор наш... впрочем, говорила только она, а я шел, не знал, куда девать руки, отвечал «да» и «нет», готов был провалиться сквозь землю и, дойдя до Анечкиного дома, как вам уже понятно, был влюблен так, как никто в мире еще не любил.

Через день я несколько раз прошел мимо заветных окошек, конечно, не глядя на них и с самым занятым видом. Человек идет по делу — и ничего в этом нет особенного!

А на следующий день я встретил Анечку в парке. На этот раз я все же говорил, но больше глядел, ах, как глядел! Плутовка, по-видимому, заметила этот взгляд, и ей понравилось, что человек пропадает.

Прошло две недели. Я вздыхал,— это стало моим главным занятием.



И вот наступил вечер, решивший всё. Слушайте внимательно.

Мы с Анечкой в парке забрели на физкультурную площадку, где громоздились на фоне разноцветного заката силуэты столбов с перекладиной, шестами, кольцами и лестницей. Анечка села на лестницу, потом поднялась на следующую ступень, затем еще выше.

— Ах, смотрите, как отсюда хорошо видно!

На это прямое приглашение и я полез вверх. Наконец, Анечка, к моей некоторой тревоге, уселась на верхнюю перекладину, и я стою ниже, вплотную к ней, и держусь за какой-то крюк. Я взглянул вниз. Там бездонная темная пропасть. Я крепче берусь за крюк и советую спуститься. Анечка говорит:

— Как высоко! Вот я сейчас упаду.—И она откидывает голову назад. Я невольно хватаю ее за талию и держу, да и сам держусь, поскольку спасительный крюк мною брошен.



Если поглядеть со стороны—сидит парочка, обнявшись!

Но представьте себе мои переживания. Сначала у меня мелькнула мысль спуститься—а она пусть как хочет. А вдруг она упадет? Анечка же вновь и вновь наклоняется назад, тем самым заставляя меня еще сильнее держать ее.

Вы спросите: что я чувствовал, когда моя мечта была в моих объятиях? Ничего. Наверное, не больше нежных чувств испытывает конюх, таща в обхват куль с овсом, чтобы засыпать лошадям в кормушки. И еще я с тоской думал: «Какая дура, ну и дура же... только бы слезть!»

И я деревянным голосом повторяю: «Давайте слезем, давайте слезем».

Наконец Анечка слезла с перекладины. Это дало мне возможность освободиться, и я быстро спустился с лестницы.

Почти в ту же минуту я простился и ушел, ушел навсегда.

Любовь мою как рукой сняло.

Утром я объявил тете, что уезжаю через два дня, а уехал в тот же день вечером, крайне удивив ее. Я бежал!

Слушатели рассмеялись, а Андрей Петрович — громче всех.

— Только чур—меня не выдавать! У нас так уж повелось: о любви юноши и девушки читают что угодно и сколько угодно, но чтобы поговорить с ними о любви, да еще учителю — это как-то не принято.

Нина была несколько разочарована.

— Андрей Петрович! Это же не та любовь. Это

смешной случай. Ну, хорошо, я скажу так: поучительный случай. А как вы по-настоящему полюбили?

Андрей Петрович поднялся и, выпроваживая ребят из комнаты, весело сказал:

— Вот режьте меня, а никому, никогда и ни за что не расскажу. Об этом уж лучше читайте в романах, только в хороших.

По коридорам, залитым голубоватым светом луны, шли молча.

А там, за стенами школы, многозвучной и многоцветной жизнью жил город.

Впереди великие дела, большая настоящая любовь...

Лягушиный зверинец

К лету у кружка юных натуралистов накопилось много живности: два клеста, уж, три ящерицы, десяток лягушек. В большой стеклянной банке содержались два жука-плавунца. Был и аквариум с парой золотых рыбок.

— Ума не приложу, куда всё это деть! — озабоченно сказал ребятам Иван Ильич. Он уезжал в отпуск куда-то в деревню и в последний раз проводил собрание кружка.

— Отвезем всё это к нам на террасу,— предложила Лиза Кожевникова.—Мы с Катей будем следить.

Так и решили. На другой день утром взяли у сторожа двуколку, погрузили на нее живой уголок и всей гурьбой повезли к Кожевниковым. Иван Ильич шел рядом и все приговаривал: «Осторожнее. Возьмите правее. Не заденьте. Петя, придержи клетку».

Новых жильцов у Кожевниковых встретили радушно. Иван Ильич в последний раз дал Лизе и Кате всякие наставления и простился.

Лето замелькало солнечыми днями, полилось ароматом цветов.

Ивану Ильичу послали два письма.

Первое его озадачило. Лиза писала, что ужик неожиданно умер. «Стал он какой-то белый и пустой. Мы очень плакали от жалости».

Второе письмо пришло следом за первым. Оно было радостным. Оказывается, уж не умер, а только стащил с себя шкурку, а сам спрятался в мох, а потом вылез. Теперь он стал еще лучше, чем был.

Иван Ильич за летними делами не собрался ответить, а теперь возвратился сам. И прежде всего он пришел в гости к Кожевниковым.

Дома была одна бабушка. Она сказала, что все скоро придут, и учитель поспешил на террасу.

Всё было как будто в порядке. Иван Ильич с удовольствием присел на плетеное кресло. После пыльной улицы здесь было удивительно хорошо.

Вдруг над перилами показалась черноглазая голова загорелого малыша лет шести. Мальчик крепко уцепился за перила одной рукой, а другой держал спичечную коробку. Он несколько удивился, увидев чужого дядю, но дядя добродушно пригласил:

— Залезай! Что скажешь? Тебя как зовут?

— Сережей. Я смотреть пришел.

— А в коробке что?

— Пять мух. Я хотел одного червяка, да не нашел.

— А почему пять мух?

— Потому что за червяка пять мух, а за пять мух надо одного червяка. А то Лиза смотреть не пустит. Теперь я буду кормить.

Малыш осторожно приоткрыл дверку террариума и вытряхнул туда мух.

— Сережа! а если мухи крупные?

— Тогда три. А за двух червей можно десять семечек. Это для птичек. Птичек клестами зовут. Они семечки щелкают.

— А много сюда ребятишек ходит?

— Много.

— Вот молодцы!—Иван Ильич весело рассмеялся и прошелся по терраске. Вдруг он заметил на стене старательно написанную яркими буквами на куске картона вывеску: «Зверинец лягушиный и ужиный».

Трудный урок

В четвертом классе начались уроки истории. Коле они очень нравились. Но, пожалуй, еще более заинтересовался этим предметом Колин дедушка. Как только Коля начинал учить очередной урок, дедушка садился рядом. Коля читал вслух, а дедушка делал свои замечания, спрашивал или отвечал на вопросы.

Сегодня что-то не ладилось.

Коля читает: «Параграф тридцать три. Буржуазная революция во Франции и борьба с ней Екатерины II и Павла I».

— Дедушка! Как это буржуазная?

— Ну, как! Буржуев били—вот тебе и буржуазная. За власть Советов.

«Народ взял штурмом королевскую тюрьму Бастилию»,— читает Коля.

— Видишь! И мы так же в семнадцатом году тюрьму громили.

— Погоди, дедушка. «Во всех городах восстали ремесленники, мелкие торговцы... рабочие... Крестьяне повсеместно нападали на дворянские имения...»

— А я о чем говорю? Об этом самом.

«Опираясь на революционный народ, буржуазия захватила власть в свои руки. Во Франции победила буржуазная революция».

И Коля с дедушкой решили, что здесь опечатка.

«Король Людовик XVI пытался бежать из Франции»,— читает Коля.

— Вот-вот,— опять оживился дедушка,— зачем народу король!

«Но по дороге король был пойман и возвращен в Париж».

— Дедушка! А кто его поймал? Кому он нужен?

Дедушка задумался, но узнав, что короля потом



казнили как изменника народа, а у власти стали революционеры-якобинцы, представлявшие интересы крестьян и ремесленников, сказал:

— Порядок! Так и должно быть. А короля сначала задержали, чтобы паники не делал.

— А что такое «последовательный революционер»? — спросил Коля.

— Ну, который следует, ну, революционер «как следует быть».

— А якобинцы не как следует быть?

— Почему так? Короля казнили, за крестьян стояли, за ремесленников.

— А они, слушай: «запрещали рабочим бастовать и бороться с капиталистами».

Дедушка начинает выпутываться:

— Конечно, были, значит, среди них меньшевики — это вредные люди, и мы таких в семнадцатом тоже били.

Но выпутываться становилось все труднее.

«Французская революция уничтожила гнет помещиков и укрепила гнет буржуазии». Хорошо это или плохо? Коля не понимает, а дедушка уже начинает проявлять некоторую осмотрительность и не торопится со своими объяснениями. «Павел I, видя, что Наполеон борется с революцией, вступил с ним в союз... Переговоры с Наполеоном привели к разрыву России с Англией».

— Дедушка, а Англия была за революцию?

— Знаешь, Коленька, я что-то... позабыл маленько: давно я это читал. Только знай, что против царей и помещиков бороться хорошо и против буржуев хорошо. Стой всегда за рабочих и крестьян.

Коля читает молча, потом спрашивает:

— Дедушка, а как это держать под ружьем?

— А это, братец ты мой, наказанье такое в царской армии было. Я его, дружок, испытал. Ну, провинишься в чем-нибудь: повернешься не так, в строй опоздаешь, тут тебя — под ружье, скажем, на два часа. Стоишь на солнцепеке, как вкопанный, и ружье на плече держишь, стоишь — не шевелишься. Мука мученическая.

Дедушка куда-то вышел, а Коля вполголоса прочитал: «Александр I держал под ружьем огромную армию». Затем он задумался. Он все-таки не понял, кто за кого боролся. Но ясно представил себе, как по дороге бежит во всю прыть толстый Людовик XVI. Бегун он, видно, плохой. Какие-то физкультурники шутя его догоняют и привозят в Париж. Потом ему голову к-а-а-к отрубят! Потом...—Коля заглядывает в учебник,—«внутренние и внешние контрреволюционеры...» Марата к-а-а-к убьют!

А у европейской границы стоит «под ружьем» огромная армия, как стоял в царское время дедушка, и... «мука мученическая».

Подвиг

Среди ночи вдруг раздался крик: «Батюшки, горим! Родименькие, горим!»

Это Анна Ивановна кричала во втором этаже.

Борю будто подбросило. Первой мыслью было: «Папы нет дома». Затем сразу о маме.

— Мама, не беспокойся, ничего не таскай, малышей не буди пока.

Листья деревьев и кустарников против окон освещены непривычным красноватым светом. Пожар! Страшное, с самых первых шагов жизни страшное слово. Только не пугаться.

И Боря уже у водопровода. Вода бьет в ведро мощной струей.

— Мама, жди меня, не торопись.

Боря с ведром воды быстро поднимается вверх по лестнице. Он не заметил, куда делась Анна Ивановна. Очевидно, она уже выскочила на улицу. Распахнув дверь в ее квартиру, Боря отступил. Страшным жаром пахнуло на него. Вся прихожая и кухня объяты огнем. Как будто расплавленное золото растекается по стенам и потолку. И звук — ох, как запомнил его Борис — «крх, крх, крх». Анна Ивановна только что отремонтировала свою квартиру: «окрасила на самой лучшей олифе», как говорили соседки.

Ослепленный жарким пламенем, Боря отступил, захлопнул дверь, толкнулся к соседу напротив. Но там как умерли. Только после Боря узнал, что у соседа в это время шла оживленная работа: он выбрасывал вещи в огород, а его жена таскала их подальше в сарай.

Что делать? А ведь папа сказал: «Борис! Остаешься за старшего!» Боря опять распахнул дверь в пекло. Вдруг он представил, как входил на днях с папой в парную баню и как папа сказал: «А ну, смягчим пар!»



И теперь, подхватив свое ведро с водой, Борис сделал так, как папа: с силой плеснул вверх на золотой потолок. И — о чудо! Огонь на какое-то мгновение сник. Боря почувствовал себя сильнее огня. И буйное веселье охватило его: «Зальем!— крикнул он.— Таскайте сюда воду! Ведрами, чайниками, кастрюлями! Воды давайте! Зальем!»

И сейчас же возникла протянувшаяся из нижнего этажа очередь испуганных лиц и самой разнообразной посуды. Второе ведро Борису наполнили из этой очереди, а затем он ворвался в квартиру. «Только не открывать окон, а то — сквозняк». Но тут Боря увидел, что стекла в окне выбиты, нет — это от жары. К водопроводу: он в кухне, у самого окна... Ничего! Можно

обливать себя водой, можно выпрыгнуть в огород на грядки: всего два этажа, не расшибешься.

Отвернув кран вовсю, Боря ведро за ведром плещет в потолок и наступает из угла на кухню, а из нее на прихожую и соседнюю комнату. Уже не видно пламени, а сквозь дым и пар лезут пожарные, настоящие пожарные!

— Как?

— Всё в порядке,—старается спокойно ответить Боря. Но он чувствует, как дрожат его колени.

— Ясно,—сказал пожарный начальник и добавил: — Спасибо, парень!

Пожарные скрылись так же быстро, как и появились.

Вот и всё.

И уже рассвело. Когда рассвело?

Боря медленно ходит перед домом вдоль кустов сирени и акации. Только сейчас он чувствует при всяком выдохе противный запах дыма.

И только сейчас доходят до сознания некоторые вздорные и смешные происшествия этой ночи. Соседи Замятины, оказывается, никак не могут найти сберегательную книжку, документы и какие-то «ценности», которые только что держали в руках. Потом выяснилось, что Замятины сунули всё это на кровать под одеяло. Верхний сосед смущенно таскал из сарая в квартиру спасенное барахло. Свои опаленные волосы и брови Боря заметил только после, когда мама, посмотрев на него, ахнула.

Пожалуй, с неделю все взрослые особенно ласково здоровались с Борей, а ребятишки смотрели на него с откровенным почтением.

А потом ничего, обошлось. И Боря почувствовал себя проще и уютнее, когда кончилась эта «героическая» неделя.

Спутник

Я, признаться, люблю эти ближние поезда, особенно в праздничные дни. И народ в этих поездах ездит какой-то простой, общительный. Ну, разве сравнишь наш сегодняшний вагон с чинными мягкими спальными вагонами дальнего следования, в которых по большим делам едут озабоченные люди? Нам недалеко и дела у нас малые.

Вот небольшая компания возвращается из гостей. Они продолжают веселиться. Шумная суматоха посадки только еще более взбудоражила их. «Все сели?» Вообще наш поезд обладает неизмеримой вместимостью, и никто еще не оставался за неимением места. Но все-таки приятно, что все тут. Вот гармонист уже растянул меха на полный размах, и компания запела. Кто-то, очевидно, мало надеясь на свой голос, начинает притоптывать и приседать, а соседи со смехом расчищают место: «А ну, давай!» Две девушки, не вмешиваясь в это веселье, но явно довольные обстановкой, усаживаются, снимают платки, оправляют волосы, прихорашиваются, делая множество мелких движений, щебечут, напоминая двух хлопотливых весенних птичек.

Серьезная заволжская бабушка — «да ничего, девоньки, мне только до Киселихи» — подробно расспрашивает почтенного кустаря, почем теперь валенки. «И куда ты, лешев добыток, лезешь?» — успевает она бросить какому-то дяде, громоздящемуся к окну, в уголок, с явным намерением прикорнуть с устатку.

Постепенно все успокоились. Густой медовый свет закатного солнца, родные поля и перелески, проплывающие за окном, вечерняя прохлада — располагали к тихой задушевной беседе.

Мое внимание все более и более привлекал сидевший рядом паренек лет шестнадцати. Плотно при-



слонившись к спинке и сложив на коленях руки, он спокойно поглядывал на всё, что попадалось на глаза, не проявляя того суетливого любопытства, которое иногда свойственно подросткам. Нет, это был взрослый человек, мысли его были сосредоточены на чем-то своем, серьезном, важном. Я обратил внимание на его руки: они были крепкие, мозолистые—руки рабочего человека.

Мы разговорились. Оказывается, мой собеседник ездил в город за покупками.

Мимо прошла почтенная женщина, с которой паренек вежливо поздоровался.

— Наша учительница по русскому языку,— тихо объяснил он мне.

— А вы в каком классе учитесь?

— Не учусь. Такое дело получилось. Я у матери один сын, больше никого нет. Отец погиб на войне. Кончил я в позапрошлом году седьмой класс. Что же, думаю, дальше? Средняя школа от нас за двадцать километров, надо в интернате жить при школе. А мама прихварывает, работать ей все труднее. Пошел я к председателю колхоза и сказал, что хочу работать в колхозе. «Ну что ж,— говорит,— давай, только мы тебя сперва на курсы пошлем». И поехал я в город на курсы прицепщиков. А потом в нашем колхозе под руководством тракториста начал работать, и очень скоро меня самого трактористом назначили. И сколько, вы думаете, заработал? Осенью мне на трудодни две тонны хлеба выдали, да и деньгами... Вот тогда мама обрадовалась: велела мне купить гармонь, радиоприемник. Пальто себе справила хорошее.

Пришла зима, гляжу я — дéла настоящего у меня как будто нет. И вот как мне опять повезло! Открыли у нас в селе сапожную артель-школу. Приняли и меня, а через месяц я уже зарабатывал на шитье обуви. Мама — я знаю, почему она сначала вроде как не рада была,— она думала, что я по ученой части пойду. А агроном наш Семен Ильич был недавно у нас в гостях и сказал: «Я его — меня то есть — с осени в областную заочную школу определю, а как закончит он заочную среднюю школу, так поступит в сельскохозяйственный институт и будет агрономом».

— Ну и как же,— спросил я,— как вы теперь будете?

— А так и буду! Мы уже с Семеном Ильичем заявление подготовили, и директор школы очень советует.

— Хорошо,— сказал я,— очень хорошо!

— А ведь мне уже пора: сейчас наша станция. До свидания!

Я с удовольствием пожал руку тракториста-сапожника.

Легко вскинув на плечо большой вещевой мешок и ловко оправив на русых кудрях кепку, мой собеседник пошел к двери: поезд замедлял ход.

Уже темно. Колеса отбивают какой-то несложный бесконечный мотив. И под этот мотив я как наяву вижу уверенно и бодро идущего в темноте молодого парня, перед которым ясны и светлы все дороги. Он, наверное, весело насвистывает. А что ему унывать?

Счастливый способ

В этом селе, затерявшемся в необъятных дальневосточных просторах, всегда жили хорошо: земли здесь целинные, травы некошеные. Я приехал сюда учительствовать в разгар организации колхоза и сразу был захвачен круговоротом дел и забот. В активе колхоза наша школа, с ее крепкими учениками, заняла видное место. Было у нас и отдельное школьное хозяйство с полями, лугами и огородами.

Длинными зимними вечерами мы любили собираться в обширном помещении правления колхоза и обсуждать повестку дня, великим мастером которой был председатель Буряк: «О тракторе, о кампаниях и разное», «О молотилках, опять же установки и разное»...

К первому вопросу отношение было всегда строгое, официальное. Обычно Буряк, решительно двигая по столу кисетом, начинал: «Вопрос, товарищи, конечно, ясный и обсуждать долго не приходится». Припечатав вопрос сухой резолюцией и выслушав какие-нибудь установки, которых у Буряка имелся неисчерпаемый запас, мы переходили к «разному».

Табачный дым сгущался, свет маленькой керосиновой лампы уже не проникал в туманный сумрак углов, за стеной все крепче сжимал зубы мороз. А нам здесь тепло и уютно.

И сквозь ночь и холод мы видели, как зеленеет, зацветает эта пустыня, как горячим густым солнцем наполняется то, что в протоколе будет записано: «слушали за семена».

Расходились поздно и неохотно.

И почти каждый раз, после всех «разных», уже уходя, Буряк вздыхал и говорил: «Не знаю только, что с корейцами делать,—вот вопрос... Не хочет Саня в колхоз... А с ним и Пак».

Меня заинтересовал этот неожиданный корейский вопрос. Я узнал, что шесть лет тому назад пришли в село два неопределенного возраста, но уже и не молодых одиноких корейца: Сан и Пак. Они объяснялись на том странном жаргоне, на котором обычно говорили здесь русские с китайцами и корейцами, полагая, что это им понятнее. Сан и Пак просили «мало-мало» земли: «Моя работай, моя кушай надо». Место им дали, помогли построить избу. А землю для огорода председатель сельского совета определил одним широким взмахом руки: «От этого дома вдоль улицы отмерьте столько, сколько у соседа, а в длину — сколько сумеете обработать: земля у нас вольная».

И два старых труженика целиком замкнулись в своей работе. Они не надоедали просьбами, но если уж что-нибудь крайне требовалось, то к соседям шел Сан. Кроткий, ласковый, он вежливо здоровался, не спеша закуривал маленькую трубочку, справлялся о здоровье и деликатно излагал свою нужду. Скоро его полюбили, стали звать Саней. «Да ты, Саня, коли что надо — приходи, не стесняйся! Понимаешь? Ну, что мало-мало надо— я давай. Твоя понимай?» И Саня кивал головой, улыбался, прикладывая руку к сердцу.

А весной, когда у других на огородах еще ничего не было, Саня с двумя большими корзинами уже обходил село и угощал всех редисом. По чьему-то совету зашел он и ко мне, новому человеку. «Здыраствуй, Николайя! Редиса надо?» Это был китайский редис, огромных размеров, нежный и сочный. Я поразил Саню тем, что для первого знакомства приобрел весь его товар. С этого дня я сделался для Сани крупным покупателем и первым другом. Все чаще после наших торговых сделок мы сидели с ним на крыльце и вели неспешную беседу.

Но вот я как-то заговорил о том, что надо вступать в колхоз. Нет, я не успел рассказать Сане о всех будущих его достатках и выгодах. Он заторопился, подобрал свои корзины. Его морщинистое лицо сделалось холодным, замкнутым. Ушел...

Через несколько дней я решил сходить к нему. Я слышал, что Саня и Пак отлично возделывают сою. Соей, кроме них, в селе никто не занимался, а я хотел ввести ее в обиход школы и колхоза.



Друзей я застал на огороде. Я еще издали помахал им шляпой. Они ответили приветливыми жестами. Подойдя ближе, я увидел, что именно сою они и сажали. Но как сажали!..

По пышной, хорошо подготовленной земле вдоль межи шел, ступая на пятки, босой высокий Пак. Он слегка раскачивался, напоминая перевернутый маятник. Таким образом этот живой маркер оставлял за собой лунки. За ним пятился Саня, опуская в каждую лунку по два семени сои, а потом заравнивая за собой и лунки и свои следы. В дальнем конце участка Пак повернулся и так же зашагал назад. Саня следовал за Паком, осваивая второй ряд. Так, «змейкой», они подвигались по участку.

Я был поражен! Прежде всего, посадка получилась идеально шахматная. Расстояния между лунками (я их измерил) были по семидесяти пяти сантиметров, глубина лунок — пять сантиметров. Я с нетерпением дождался перерыва в работе и стал расспрашивать Саню, почему они таким способом сажают, и из ответов Сани понял, что это «счастливый способ».

Каково же было мое удивление, когда вечером, перебирая руководства о сое, я нашел, что, по данным ближайшей местной опытной станции, наилучшей является гнездовая шахматная посадка сои, с расстояниями между лунками в семьдесят пять сантимет-

ров и глубиной заделки в пять сантиметров. Так сошлись в своих выводах наука и тысячелетний народный опыт.

На другой день я рассказал об этом ребятам. Семена у нас приготовлены, участок тоже, срок работы пришел,— завтра же за дело. «Вы утром пораньше выходите на участок, а я приглашу Саню как большого знатока».

И вот чудесным ясным утром мы с Саней, снова в мире и дружбе, не замечая за хорошим разговором пути, подошли к школьному полевому участку. Только о вступлении в колхоз я больше ни слова...

На пригорке уже дожидались ребята. Я был уверен, что всё у нас пройдет хорошо, что всё предусмотрено. Но одного я не знал: того, что придумали сами ребята.

Рослый и сильный таежный парень Иван Вавилов, бригадир нашей «соевой бригады», передал мне странную просьбу ребят: «Теперь ничего не поправляйте, а только смотрите, а когда кончим, и если что не так, то ставьте нам по двойке, и всё переделаем заново». Глаза у Вавилова озорные.

— А ведь поставлю, Иван!

— Ладно.

— И тебе первому.

— Ставьте.

— Плохо будет тебе, ох, плохо.

— Будьте спокойны: всё сделаем как надо.



— Молчу. Действуйте.

Мы с Саней сели на холмике и закурили. Но скоро я забыл и о Сане, и о своей погасшей папиросе.

Тридцать самых рослых наших ребят, молодец к молодцу, босые, с расстегнутыми воротами, встали в ряд и обнялись. Вавилов стоял перед ними, один. Его загорелое красивое лицо было серьезным, взгляд — острый, буйные кудри слегка шевелились под утренним ветерком. Я залюбовался Иваном. Таким собранным, как пружина, он, наверное, был и тогда, когда с отцом и дедом брал медведя.

Шеренга замерла, слилась в один сгусток коллективной воли. И вот Вавилов, подняв руку, отрывисто скомандовал: «Приготовиться!.. Левой... правой... раз... два... раз... два». И, плавно раскачиваясь, по полю зашагал... Нет, это был не просто живой маркер, это была сама дружба, несокрушимая и всепобеждающая. А за удаляющейся шеренгой — вы только послушайте,— за шеренгой, тоже босые, следовали по каждой линии лунок малыши, сажая семена. Всё дальше и дальше слышалось: «Раз... два... раз... два...»

Я перевел дух. И вдруг передо мной возник образ бедного корейца, одиноко мотающегося по своему участку. Какие беды и когда оторвали его, как лист от дерева, от его милой, незабвенной матери-родины? Где и сколько мыкался он, пока не уцепился за вольную землю? Что перенес, прежде чем замкнулся в своем одиночестве, в неизбывной жажде по своему клочку огорода?

Я обернулся к Сане.

Трубка его не дымила. Он сидел выпрямившись, вытянув шею, и неотрывно смотрел туда, где слышался торжествующий мощный молодой голос, где сияла сама весна.

Но вот Саня тоже вспомнил обо мне.

Что передали мы друг другу одним долгим взглядом — о том трудно рассказывать...

— Николайя,— тихо промолвил Саня.

— Что, Саня?

— Колхоза надо быть. Пиши нас колхоза. Шибко пиши...

Кокочка

Нет, день сегодня не пасмурный. И не шуршит осенний дождь по крыше. Обыкновенный день. Но Иван Фомич смотрит в окно и не замечает, какой он там, день. Серые мысли стелются туманом, и в разрывах тумана проплывают картины, воспоминания, мелькают забытые события.

Жена — ах, ведь как давно это было — сказала:

— Ваня, теперь Вере после смерти мужа тяжело жить одной, она места себе не находит. Пусть у нас поживет.

— Ну и хорошо, Люба, отлично.

В те светлые дни молодости и счастья всё было только хорошо и отлично.

И вот старшая сестра Любы Вера Васильевна приехала со своими сундуками и узлами. Тогда Иван Фомич почувствовал некоторую досаду: кому нужны какие-то тряпки? Но Вера Васильевна проявила большую хозяйственность и всё разместила так, как будто ничего не прибавилось, а очень скоро даже стало казаться, что в доме теперь лучше, уютнее. И свою кровать она поставила в проходной комнате, там, где между дверьми образовалась ниша. В те же незапамятные дни Вера Васильевна взяла в руки базарную сумку, да так с тех пор и не выпускала ее из рук.

Когда родился Федя, Вера Васильевна, не имевшая детей, всю силу своей любви сосредоточила на нем. Если Федя ночью начинал возиться и плакать, то спешившая к нему мать уже заставала сестру. «Ты спи, Любочка, я его уделаю». И Верочка «уделывала». Постепенно установилось так, что ночью мать на голос сына только, сладко потянувшись, шептала: «Верочка уделает» и вставала лишь тогда, когда сестра будила ее покормить мальчика.

Скоро Веру Васильевну все стали звать тетей Верой,



а потом Кокой, Кокочкой. С Феденькой они были неразлучны. И уж так повелось, что когда для Феденьки надо было что-то сшить, Любовь Васильевна говорила: «Ничего, перевернем из Кокочкиного», и в сундуках тети Веры всегда находилось что-нибудь подходящее.

Иван Фомич иногда мало давал Кокочке денег на хозяйство, и тогда Кокочка, вздыхая, вела с соседской няней Марьюшкой разговоры насчет того, как трудно бывает в доме, когда нужда приходит в гости. Марьюшка понимает: всю жизнь она скитается по людям и ох, как знает нужду.

И Кокочка в такие трудные дни чувствует себя виноватой за скромный обед. Когда же Иван Фомич встанет из-за стола недовольный и, пожав плечами, скажет, что мы, должно быть, плохо планируем, поэтому нам не хватает, она сидит понурая и несчастная, понимая, что «это намек».

Но как же ее радовало, когда в благополучные дни она приносила с базара большую сумку всякой всячины. Отдышавшись, втаскивала сумку в столовую, ставила на стул и заводила разговор: «Вот ведь посмотреть не на что, а подумать только, во что всё это обходится!» Разговоров этих никто не поддерживал,

и только сегодня Иван Фомич понял весь их тонкий дипломатический замысел. Но Иван Фомич уже никогда не узнает, как часто Кокочка черпала мудрость у Акимовны из пятой квартиры. Акимовна владеет многими рецептами счастливой жизни. Она не беседует, она поучает: А ты, милая девушка, возьми один стакан муки. Это во что же станет? Ну, если четыре восемьдесят кило, а лучше скажем, почем фунт? Ты, девонька, сообрази: одно куриное яйцо...» — А потом слышалось: «Рубль двадцать да еще, ну, скажем, девяносто, опять же полтинник...» И не узнает Иван Фомич, как из стакана муки, одного яйца и ложки сахара сделать то самое чудо, которое проходило незамеченным за обедом, поданным Кокочкой с таким душевным трепетом, с такой готовностью к триумфу и к позору, с какой выходит на сцену великий актер. Нет! Спектакль не удался. В зале скука, огни не горят, а тлеют, публика зевает и расходится молча, угрюмо...

Когда же началось то, что сегодня особенно беспокоит? Когда в семье появилась у всех досада на Кокочку за каждое ее движение, за каждое ее слово? Всех, например, раздражало, что она вечно ищет ключи. «Кокочка! Да вешайте вы их, пожалуйста, вот на этот гвоздь!» — «Да я их только что в руках держала». И этот нелогичный ответ раздражал еще больше.

А когда начал грубить Кокочке Федя? Ее настойчивая опека стала тяготить его. «Отвяжись, Кокочка! Ну — тебя!» Если Федя, уже великовозрастный парнище, выходил из дома, Кокочка все-таки обязательно говорила вдогонку:

— Ты шарф-то надень. Что же ты брюки не сменил? — Федор часто даже не отвечал, а Кокочка стояла кроткая и немного растерянная. Она не понимала, за что сердится на нее Федя, ее Феденька?

Иван Фомич всерьез стал поговаривать, что у Кокочки деспотический характер. Бедная Кокочка, услышав такие обидные слова, тихонько плакала в своем уголке. Нет, никто не замечал этих слез.

И вот Федя, молодой инженер, уехал... Где была Кокочка в тот день? Ее, помнится, не было в веселой гурьбе друзей, провожавших Федю до автобуса. Но вскоре после этих проводов все стали замечать, как постарела и опустилась Кокочка. Все больше стало бросаться

в глаза, как обветшало ее платье — что, в самом деле, одно оно у нее, что ли? — и как грязно и заношено ее пальто. И никто не вспомнил, что всё «Кокочкино» было перекроено, перевернуто, что ни разу в семье не говорили о том, как «справить» Кокочке пальто, сшить платье.

Когда появился у Кокочки котенок? «Чей это, откуда?» — «А я его только покормлю, его бросил кто-то». На другой день котенок сидел в коридоре около двери, потом «нечаянно» заночевал в кухне, потом Кокочка решилась постлать ему коврик под своей кроватью. Должно быть, много тревоги пережила Кокочка, боясь, что прогонят котенка, не разрешат. Но вот беду пронесло, и Кокочка немного оживилась. И ко всем своим заботам она прибавила еще одну: искать котенка Кузьку. Если он очень поздно гулял на улице, Кокочка почти не спала, и стоило только котенку пискнуть за дверью, как она моментально вскакивала, впускала его, кормила. Целыми днями Кузька ходил за Кокочкой, а она добродушно спрашивала его: «Ну что, Кузька, молочка хочешь? Ведь недавно ел. А нитки кто запутал? Озорник ты, озорник». Кузька что-то отвечал по-своему, терся боком о косяки дверей, изгибал хвост в виде знака вопроса. Постепенно Кузька вырос, окреп, прочно вошел в быт семьи.

Но вот в последние дни он домой почти не приходил. Напрасно Кокочка бродила по всем подъездам, расспрашивала соседей. Акимовна сказала: «И-и, девонька, да что ты, бестолковая: гуляет кот, ну и пусть гуляет. Придет!».

Наконец Кузька явился. Как обрадовалась и захлопотала Кокочка! Кузька жадно набросился на еду, а она стояла рядом, подливала ему молока и лепетала, лепетала без конца.

Вдруг кот опять подбежал к двери и стал проситься на улицу. «Да куда же ты, Кузенька? Да ты поспи!» И Кокочка взяла его на руки. И тут Кузька злобно заурчал, рванулся, оцарапав Кокочке руки, и опять ринулся к двери...

Кокочка молча отворила ему дверь, опустилась на стул и, неподвижно уставившись в угол, сидела час, больше ли,— сидела бесконечно долго. Нет! Она не искала Кузьку. Да и куда он денется?



На следующее утро Кокочка, бледная и печальная, попросила у Ивана Фомича конверт и лист бумаги, потом долго что-то писала, пристроившись на уголке кухонного стола, потом легла и вот — больше не вставала...

День сегодня, как день, но откуда эта осенняя грусть?

Слышно, как стонет Кокочка. Врач был, покачал головой, пожал плечами и сказал: «Что ж! Простуда! Организм слабый...»

Люба ушла в магазин. Около больной сидят Акимовна и Марфинька. Они целиком завладели порядком в квартире, и всё делается так, как они велят. «Ключи, ну, где же ключи»,—мечется Кокочка. «А здесь они, милая девонька»,— отвечает Акимовна и находчиво звенит какими-то ключами. Кокочка затихла. А Марфинька с Акимовной шепотом решают одну из своих житейских задач: «Ты сказала: рубль двадцать. А за лекарство? Опять же лимон. Теперь смекай...» Акимовна сбивается, а Марфинька начинает шуршать: «Рубль двадцать да шестьдесят, да трамвай тридцать, да еще шестьдесят...»

И вдруг Кокочка ясным и радостным голосом громко говорит: «Два семьдесят!»

Иван Фомич вздрогнул и поспешил к Кокочкиному углу.

Марфинька поднимала свесившуюся на пол Кокочкину руку, Акимовна закрывала покойной глаза.

Иван Фомич вышел на улицу и побрел, сам не ведая куда.

В кармане у Ивана Фомича лежало письмо, которое Кокочка так долго писала. Иван Фомич прочитал его, и в нем было написано очень мало. «Милый Феденька, увези меня к себе. Я всё тебе уделаю, постираю, повешу тебе на окно белую занавесочку, состряпаю твой любимый торт. Я никому не нужна...»

Вечером

Во дворе под большим тенистым вязом какая-то добрая душа соорудила простой крепкий стол и вокруг него три скамейки. По вечерам здесь, как говорит Анна Васильевна, у нас «настоящий клуб». Малыши, заполнявшие двор в течение дня, укладываются спать. Молодежь в другом конце двора играет в волейбол, и нам хорошо наблюдать все «острые моменты».

Анна Васильевна — подлинная хозяйка нашего клуба. Она любит общество, любит посмеяться. А Семен Семенович, счетовод из пятого подъезда, любит посмешить: кажется, на каждое ваше слово он может ответить анекдотом. Вот и потешаемся. Из третьего подъезда приходит бабушка. Она мало говорит, но хорошо слышит, смотрит на всех благодушно и, видимо, ей очень приятно наше веселье: пусть тешится народ.

Сегодня наш клуб весь в сборе, только Семена Семеновича, как на грех, нет, и разговор не клеится. Анна Васильевна заметно скучает. Молча покуривает трубку инженер Федотов, уже два раза громко зевнул почтальон Василий Васильевич,— за день-то умаешься!

Самая молодая из нас кроткая портниха Дашенька тоже подсела к нам с каким-то рукоделием.

— Ох-ох-ох! — вздохнула бабушка,— где же у нас сегодня Семен-то Семенович пропал, забубенная головушка? В это время к нам подошел Иван Трофимович. Он руководит крупным учреждением, вечно занят, и бездельничать с нами ему некогда.

— Здравствуйте, разрешите с вами погулять, товарищи! И куда это Груня моя делась?

— Пошла в «Гастроном»,— отвечает Анна Васильевна,— посидите, Иван Трофимович, устали, поди.

Иван Трофимович закурил.

— А ведь хорошо как, вечер-то какой!

Бабушка стала ворчать что-то о нынешней молодежи: нет у них благодарности, в наше время не так было...

С этого и завязался у нас настоящий разговор.

— Да,— заметил инженер,— раньше как будто благодарнее были дети.

— Это верно,— отозвался Василий Васильевич,— верно, что благодарнее. Нас вот у матери было семь человек, отец — больной. Бывало, мать уже и не знает, кого благодарить: на-ка, поди,— день кончился и все живы! Не то что сыты, но и с голоду не умерли.

Как сейчас помню, пошла раз она к купчихе Калугиной за стирку получить, ну и меня прихватила: авось, господь вразумит купчиху мне какой ни на есть пряничек сунуть. Вынесла ей купчиха пятьдесят копеек. Мать кланяется и благодарит: «спасибо вам, уж так спасибо», а купчиха сказала что-то и ушла — я и не заметил когда: загляделся. И вдруг с удивлением слышу, как мать, не меняя голоса, продолжает: «спасибо, чтоб лопнула твоя утроба, сквалыга, пропади ты пропадом. Пошли, Васенька!».

Я потом дома ребятам представил всё это, так они с хохоту полегли.

Вся наша компания тоже рассмеялась.

— А ведь в самом деле,— сказал инженер,— было что-то приниженное, нищенское, часто даже неискреннее в этих проявлениях благодарности, к которым нас приучали.

— Еще как приучали,—отозвалась Анна Васильевна.— У нас в семье такой был порядок: после обеда, после чаю мы с братишкой должны были каждого из взрослых поцеловать в щеку и сказать «спасибо». И так приучили, что и не смотришь, кого целуешь. Мне уж лет тринадцать было, когда я так же гостя поцеловала: он на дедушкином месте сидел. И он растерялся на мое «спасибо», и я хоть сквозь землю провалились.

— У нас, Василий Васильевич,— добавила она,— отец приказчиком был, должно быть, позажиточнее вашего жили, и семья была поменьше, чем у вас, а цену хлебу—ох, как знали. И не по тому знали, какая она в лавочке, а по тому, сколько этого хлеба у нас на столе было. Кусков-то не оставалось.

— Вот,— обратился к инженеру Иван Трофимович,—вот вы, Петр Яковлевич, говорите—нищенство... А ведь вы правы. Поглядите на ребятишек на нашем дворе, на улице — часто ли вы видите у них заплатанную одежду? А вспомните наше детство. Как вы, Василий Васильевич, скажете: ведь наша-то одежонка была заплатка на заплатке? А?

— Совершенно верно,— подтвердил почтальон.

— Да что там,— махнула рукой наша председательница Анна Васильевна,— помню я, как сошьют, бывало, нам с сестрой Евгенией по новому платью, так мы и ходить в нем стесняемся. Женька — та всё голову немного набок делала и руку вкось держала, с манекена, что на витрине, образец брала, а я тоже, бывало, дура-дурой иду...

Тут громко и неожиданно звонко, от всей души рассмеялась Дашенька: она по своей профессии хорошо знала эту «изящную» штуку — манекен и только сейчас представила себе всю его условную красоту.

— Помню я, товарищи,— продолжал между тем Иван Трофимович,— сшила мне мать к экзамену новую рубашку, а я ее через час разорвал. Как меня мать избила! Но парень я крепкий, так ли меня лупцевали друзья-мальчишки, я бы и глазом не моргнул от этого наказания, а вот отчаяния ее не мог перенести. И как сейчас помню, плачет она горькими слезами от жалости ко мне, к себе, к убогой нашей жизни, а я плачу от жалости к ней. И заметьте: не реву в голос, как это мы — сорванцы — делали «для порядка», а первый раз в жизни настоящими тихими слезами плакал. Да что там говорить. Вспомните, в каждой ли избе самовар был? А ведь какое это богатство было — самовар...

Вдруг бабушка промолвила: «А я... кхи, хи-кхи-хи...— Не понять было: смеется она или кашляет...— А я,— и опять: кххх... кхи-кхи..»

Мы терпеливо молчали.

— А я помню,— наконец собралась с силами бабушка,— помню, как я — мне тогда лет двенадцать было — самовар распаяла. Поставила, а воды налить забыла, он и распаялся, так весь и сел. Отец меня за это, страшно вспомнить, на снег выбросил и дверь запер. Спасибо соседям: пригрели... Ох-ох-ох, что горя-то видели...

И бабушка замолчала, полностью погрузившись во мрак далекого тяжелого прошлого.

— Знаете, друзья,— задумчиво сказал Иван Трофимович,— неправильно мы считаем, что наши дети неблагодарны. По-другому идет наша жизнь, и сами мы с вами изменились, и благодарность наша, как я думаю, другая. Я живу в этом городе пятьдесят лет. Куда бы я ни уезжал, я возвращаюсь сюда, в свой родной город. Я знаю историю каждой площади, каждой улицы, каждого дома. И я каждый день испытываю чувство большой признательности. К кому, хотите вы знать? Да вот сегодня... Вспомнил я Васякина. Был у нас такой беспокойный товарищ. Если бы вы слышали, как в прошлые годы бился он за устройство садиков, как трогательно старался он на бюро соответствующими цитатами смягчить суровое сердце райфо, как доказывал нам на собраниях пользу зеленых насаждений для детей и взрослых: всё ему было мало, всё большего требовал. А как потом под въедливым вниманием районных контролеров изворачивался он, стремясь расклинить жесткие рамки смет, пунктов и параграфов. Ведь контролера-то агитацией за пользу зелени не прошибешь! Так вот, иду я с работы, и сидит, представьте себе, в сквере против большой клумбы один из этих самых контролеров. «Здравствуй,— говорю,— чьи цветы нюхаешь?» — «Как это чьи?» — «Васякина цветы!»

Поверите ли, контролер так и расплылся, словно к нему любимый родственник приехал: «Да что ты, да где же он? Вот человек! Вот парень!»

Орудует сейчас Васякин на большой новостройке и не оставил Васякин о себе нам на память в устроенных им скверах, садиках, липовых аллеях мемориальной доски, как не оставят их те наши милые товарищи, что бережно реставрируют сейчас наш кремль, бьются между собой «насмерть» из-за реконструкции каждой площади, обвиняют друг друга в формализме и архитектурной эклектике. И всем им и каждому я признателен. Честь и слава, как говорится!

Извините, товарищи... я — это самое — увлекся...

— Что вы, Иван Трофимович,— взволновался почтальон,—мы это чувствуем, мы ведь это понимаем.

А Иван Трофимович продолжал:

— Вот о себе скажу. Работал я сегодня как лошадь. А ведь иду домой—твердо знаю, что ваш, Анна Васильевна, супруг хлеб хороший выпечет на хлебозаводе, а Василий Васильевич письма не задержит...

— Как можно!— подал голос почтальон.

— Вот и спасибо вам, Василий Васильевич. А вы, Анна Васильевна, супругу вашему передайте мое почтение...

Да! И письма будут, как часы, и булки будут, как часы... Только вот Груня моя не как часы... Да вот и она,— весело встречает он жену.— Ай-ай!

— Да дело-то какое вышло... —торопится Аграфена Павловна,—пойдем скорей, покормлю...

— До свидания, товарищи,—поднимается Иван Трофимович.

— До свидания,—первой отвечает застенчивая Дашенька.

— Будьте здоровы,—говорит Анна Васильевна.

— Хорошо потолковали!—это—почтальон.

— Честь имеем кланяться,—солидно произносит инженер Федотов.

Наступило хорошее легкое молчание. Только сейчас заметили мы, что уже стемнело. Стало как-то особенно тихо. Да! Это на волейбольной площадке кончилось сражение.

Вдруг от ворот послышались быстрые шаги.

— А, наше вашим!—раздался «бодряцкий» голос Семена Семеновича!—Так как же, стало быть, спрятался под кровать и говорит оттуда... А?

Дашенька быстро поднялась и строгая, ни на кого не глядя, проследовала мимо.

Василий Васильевич заявил: «А ведь мне завтра в семь часов»,—и ушел.

— Никак мой там гуторит?—встрепенулась Анна Васильевна.

Бабушка проворчала:

— А ну тя, пустобрех,— и поплелась к своему подъезду, растаяв в вечернем сумраке.

Семен Семенович озадаченно поглядел на инженера Федотова.

А тот задумался о чем-то. Только вспыхивали искорки его трубки.

„Кухаркины дети“

Наша небольшая дружная компания рыболовов пережидает у костра короткую весеннюю ночь. И эту ночь, и всю обстановку, и наше общее настроение можно назвать одним словом — тишина. И, как нежный звон маленького серебряного колокольчика, струится в воздухе какой-то непрерывный сонный звук: «тррллюю-тррллю...»

Вот-вот закипит вода в старом, видавшем виды солдатском котелке.

Неспешный наш разговор перешел на воспоминания. Говорили о минувших войнах, о друзьях молодости, о несокрушимых людях нашей эпохи.

Самый младший из нас, комсомолец Виктор, вдруг спросил у Петра Ивановича: «Петр Иванович! Вот вы и в гражданской войне участвовали. Ну, например, расскажите, как, когда у вас у самого зародилась ненависть к старому строю?»



В задумчивости выбрав из костра подходящий прутик с огоньком, Петр Иванович закурил, вздохнул и начал рассказ.

— Ненависть к старому строю зародилась у меня, раз уж ты точно хочешь знать, когда мне было лет шесть. Да, товарищи, именно шесть лет.

Надо вам сказать, что был я в этом возрасте очень застенчив. А тут еще постоянная испуганная суматоха матери с ее неизбывной мучительной заботой накормить шесть голодных ртов, рваная наша одежонка, голодные мечты наесться досыта. И не-

заметно, пылинка за пылинкой, откладывалось в моем сознании ощущение приниженности, неполноправности.



И вот, как будто вчера это было, стою я — босой, худой и бледный малыш — и наблюдаю веселую игру «богатых» ребят. Я забываю всё. В воображении своем я уже не один, а со всеми вместе. Но мне нужно кое-куда сбегать, и я весело кричу: «Я сейчас приду!» И вдруг вдогонку мне несется грубая реплика упитанного и наглого подростка: «Да можешь и не приходить!»

Я мучительно покраснел. Честное слово, товарищи, я и теперь считаю, что это было первое оскорбление, полученное мной от враждебного класса. Счет этих оскорблений постепенно рос, но эту детскую обиду я прочно держал за первым номером.

На окраине маленького городка нас было много. У одного только ломового извозчика дяди Семы было шесть человек, а вся наша компания включала не менее двадцати таких оборвышей.

Когда мы кончили начальную школу, граница между нами и богатыми наметилась особенно отчетливо. Мне дома сказали тогда: в гимназию мы тебя отдать не можем, в гимназии плата за ученье, форму надо носить — всё это денег стоит; придется поступать в городское училище. И вот я и мои друзья — ученики городского училища, которое один царский министр назвал школой для «кухаркиных детей», чтобы «кухаркины дети» не лезли в гимназию. Мы, конечно, и без разъяснений царского министра скоро научились понимать особенность своего положения, но чтобы мы смирились с ним — нет! Наш буйный протест выражался в постоянной войне с гимназистами. Это была

не детская игра. Это была глубокая ненависть обездоленных людей к классу эксплуататоров.

Скажу, кстати, что учились в гимназии кое-кто и из наших ребят, кому посчастливилось. По каким-то признакам мы чувствовали: это свои — и никогда не трогали их.

Так, через «улицу», через горькую нужду наших отцов и матерей, под постоянным потоком обид и ущемлений, льющихся на нас от богатых, рос наш счет к старому миру.

Зимой с 1916 на 1917 год я, уже будучи студентом учительского института, был приглашен к важному чиновнику губернского города репетировать его детей. Звоню. Дверь отпирает вежливая горничная: «Проходите, пожалуйста, я сейчас доложу». Прошел, скромненько стою в обширном зале и чувствую себя весьма стесненно в своей поношенной тужурке, перешитой из старого пальто. И вот, друзья, выходит — нет, не то — плавно надвигается на меня полная дама и, гордо откинув голову, смотрит на меня в лорнет. Я, признаться, даже не заметил, из какой двери она появилась. Смотрю на нее, как кролик на удава, и не знаю, что делать. Вдруг удав возглашает басом: «Жоржик, Игорь!» Выходят из соседней комнаты два здоровенных гимназиста, оба выше меня ростом, и с холодной вежливостью стоят перед мадам. Брезгливо опустив углы губ, мадам ткнув в мою сторону лорнетом, говорит: «Дети! вот этот... господин будет с вами заниматься».—А мне бросила: «С вами договорится гувернантка».

И тут сжало мне сердце такой лютой злобой... Верите ли, я чуть не задохнулся. В каком-то зеленом тумане проплыл вон из комнаты пестрый удав.

Опомнился я только дома, под веселый хохот своего друга и однокурсника Пашки Полякова.

С жоржиками я занимался недолго.

Время было тревожное. Однажды поздним февральским вечером Пашка, всегда спокойный, ворвался в комнату в крайнем возбуждении. «Что ты?»—«Ура! Революция!» Я быстро вскочил, надел на себя пальто, шапку. «Ты куда?»—в свою очередь удивился Павел. «К жоржикам!»—«Пойдем, друг, пойдем!»—веселился Пашка.

И вот мы вдвоем перед большим двухэтажным до-

мом, где живут жоржики. На темной улице полное безлюдье.

Да простит мне история мелкие масштабы моего вступления в революцию! Вот этими самыми руками под хохот своего неизменного друга я разбил стекла в квартире. Я увидел, что Павел тоже держит в руке булыжник. «Что же ты, Павел, бросай!» — «Нет,—отвечал Павел,—это я на случай... для жоржиков».

Был он постарше меня и подальновиднее...

Когда в грохоте гражданской войны мы уже многое научились понимать, когда мы лучше стали разбираться в хитрой механике капитализма, не раз случалось нам коротать ночь в походе. И не раз, вспоминая пережитое, мы приходили к общему решению, что именно первые детские скорби и радости, надежды и разочарования прочно определили весь наш дальнейший путь.

Рассказчик наш замолчал.

Вода в котелке закипела. Мы принялись за чай.

Подметки и вечность

Тысяча девятьсот двадцатый год.

Вокруг старой, изукрашенной медными заплатами походной кухни сидим мы в своих простреленных шинелишках за скудным ужином. Каждому из нас немногим более девятнадцати лет, и политрук Чекмарев нам в отцы годится. Он часто объясняет нам секреты хитрой механики капитализма, толкует о первичности материи и вторичности сознания. Объяснения его иногда трудноваты, не всё мы понимаем, но любим Чекмарева за его великую ученость. Сам он, вопреки своим утверждениям, состоял только из духа, шинели и больших сапог. И удивительно было, на чем только держались эти мощные сапоги и почему Чекмарь не улетучивался, прозрачный и невесомый, через воротник шинели. Знать крепка была путиловская закалка в этом тощем человеке!

— Сменяй, Чекмарев, сменяй сапоги,— настойчиво просит наводчик Ефимов,—мои поменьше, мне тесны, а тебе как раз придутся. И подметочки добавлю.

— Нет, браток, и не проси. В твоих сапогах только форсить, а мои на портянки влезают... и голенища хорошие... и воду не пропускают.

Знали мы тогда цену каждому ремешку, каждому лоскуту. Подошел к нашей компании ездовой Галендеев, и как-то неловко стало продолжать разговор о добротных сапогах, потому что ботинки у Галендеева были скреплены телефонным проводом, чтобы не потерялись окончательно измочаленные подметки. И вот Ефимов, серьезный и сосредоточенный,—дело не шуточное—покопался в своем вещевом мешке и вытащил подметки. Да, браток, новые подметки! Он протянул их Галендееву и так, будто между прочим, сказал:

— Зайди к Хохрякову: он подкинет тебе подметки.

Мы—ни слова...



Потом закурили из чьего-то вдруг щедро раскрывшегося кисета. А южная ночь, наступившая, как всегда, быстро, без наших северных дремотных сумерек, скрыла то, что и не надо замечать в лицах и глазах друзей в такую вот, черт возьми, минуту.

В синей бездне неба все ярче сверкают звезды. Неизмеримые масштабы их расстояний удивительно хорошо соответствуют тому, что рассказывает нам Чекмарев. Он уже закончил со своей порцией, вытер ложку и неутомимо разоблачает злые замыслы международного капитала. Мы слушаем, кроем последними словами белогвардейскую свору и смекаем, как нам единым махом сокрушить многоголовую гидру контрреволюции. Проекты наши решительны и необузданы, сердца бьются крепко, головы пылают. Мы видим, наяву видим, как по необъятным мировым равнинам на лихих боевых конях, сверкая молниями острых клинков, мчатся в будущее, мчатся, сотрясая и землю и небо, тяжелые лавины могучих всадников.

Я лежу на спине, раскинув в стороны руки. И мне кажется, что вот он, за мной, наш беспокойный земной шар. Он держит меня, как гигантские крылья, и на этих крыльях я лечу над звездным океаном.

Экзамен

Гражданская война...

Одна из легендарных наших дивизий, пройдя с боями от Царицына к Дону, вымела белогвардейский сброд с Кубани и крепко встала против Крыма, где еще пробовал отсидеться «черный барон» Врангель. В один прозрачный осенний день в дивизии произошло событие столь незначительное, как если бы в море упала одна единственная дождевая капля. Назначили меня, молодого учителя, окончившего школу красных командиров, начальником конной разведки артиллерийского дивизиона.

Командир дивизиона Рогов, человек с худым медным лицом, изрезанным глубокими морщинами, принял меня холодно.

— Старший разведчик Гришин даст вам коня. Гришин — ваш помощник. Учтите, что разведку надо держать в руках. Хорошо бы поскорее познакомиться с местностью: возможны стрельбы, а может быть, и бои с десантными частями Врангеля. Гришин укажет вам квартиру. Оружие у вас есть? Нет? Ну и у нас свободного нет: всё на руках. Потом как-нибудь... Может быть, беляка-разведчика поймаем и отберем.

Я сохранил достойный вид, но с чего и как начать работу—не знал. Да и вряд ли ждал от меня проку суровый Рогов.

Потом старшина Гришин, человек с большими усами и спокойными манерами, показал мне моего коня, которого ординарец Сашка Черномазов равнодушно провел по двору. Я сразу понял, что и конь плохой, и Сашка—продувная бестия.

И вот передо мной двадцать пять воинственных всадников. Что за смесь национальностей и одежд! Вооружены до зубов. Орлы! Надо заметить, что в разведку подбирались ребята, прошедшие огонь и воду.

Никогда я не чувствовал себя таким юным и ничтожным, как в эту минуту. А в сознании занозой засели слова Рогова «держать в крепких руках».

Тут еще кто-то из разведчиков — или это мне только показалось — откровенно хмыкнул. Не надо мной ли?

И вот я взорвался.

Могу сказать, что я показал высокий класс некоего «технического» языка. Кажется, все боги и святые угодники в самых чудовищных сочетаниях были пущены мною в ход.

«Орлы» подтянулись, спокойно выслушали, чинно разошлись, ведя на поводу коней. Мы с Гришиным уединились в хате, разобрались в списках несложного хозяйства команды разведчиков. Гришин держался официально, с подчеркнутой выправкой, «по уставу». И только оставшись один, я остро почувствовал, какая меня постигла неудача, каким кратковременным и непрочным будет этот мой липовый «авторитет». Кстати, потом я много раз убеждался, что не любят русские люди матерщины, хотя и ругаются, если верить свидетелям, больше всех на свете. И напрасно уверяют некоторые товарищи, что виртуозная брань даже приятна простому русскому человеку.

Дорогой друг, товарищ Гришин! Что ж не сказал ты мне в тот вечер: «Мы это, браток, и сами умеем не хуже тебя, только не в этом сила, и наука эта пустая». Пришлось мне доходить до истины одному, без твоей мудрой помощи.

Много я передумал в ту ночь...

Утром я расспросил у Гришина о каждом разведчике: кто откуда, каковы семейные обстоятельства, кто и чем отличается. Потом я взял карту, изучил ее, прикинул несколько маршрутов по Таманьскому полуострову, предварительно наметил возможные полигоны и позиции вплоть до Анапы, взял запас бумаги, компас, планшет.

— Товарищ Гришин! Я еду знакомиться с местностью по распоряжению командира дивизиона. Ему, если спросит, так и доложите: «по вашему распоряжению». Со мной дайте разведчиков Филонова и Герасюка (оба они из Анапы и до́ма не были давным-давно).



Взяли мы курс на запад, а Анапа от нас к югу, в стороне. Я ехал впереди, Филонов и Герасюк сзади, с холодной почтительностью. Мой конь оправдал самые худшие опасения: бежал плохо, на ходу спотыкался. И наездник я был—под стать коню.

Два дня я увлеченно трудился над маршрутной съемкой и не сразу заметил в своих спутниках перемену. То, что я никудышный наездник, это они, конечно, увидели сразу. То, что я проявляю большое упорство и терпение, мучаю себя верховой ездой,—это они поняли на второй день. Но когда Филонов просто и дружески предложил мне пересесть на его коня: «не беспокойтесь, на нем—как в люльке»,—я начал кое-что замечать.

Бывает так, что в холодный зимний день вдруг промелькнет несколько влажных снежинок, повеет теплый западный ветер—нет, сначала только появится как бы предчувствие его, а уж потом вдохнешь его полной грудью...

Я увидел, с каким серьезным вниманием и уважением следили разведчики за моей топографической съемкой и понял, что навыки опытного рисовальщика и отлично усвоенный курс топографии сейчас оказались для меня всего важнее.

Не знаю, когда ребята смекнули, что в хитрых петляниях по моим маршрутам мы все более сбиваемся к Анапе.

Вот уже вечереет. Съемка закончена. Я тщательно укладываю дорогие мне чертежи. Друзья настороженно смотрят на меня. А я с безразличным видом говорю:

— Ну, что ж. Где сегодня заночуем?

— Да лучше всего в Анапе,—старается спокойно говорить Филонов. Он не знает, что мне известно, чем связаны они с Анапой и кто там ждет их, не дождется.

— А не далеко будет?

— Да нет же,—прорывает обоих,—это вот за пригорочком, рукой подать.

А я-то знаю точнее точного, что ровно девять километров.

— Ну, давайте. А ничего там?

— Да как хорошо-то! Ведь мы здешние, из рыбаков. Ведь мы вас как родного примем. Да мы... И—эх!

Действительно, домчались вмиг. Герасюк впереди, я за ним, «как в люльке», а следом Филонов (как только он сумел выжать такую скорость из моего одра!).

Пропуская подробности, могу сказать, что выбрались мы из Анапы на другой день после обеда...

К командиру дивизиона Рогову я явился бодрым, подтянутым.

— Разрешите доложить! Ваше распоряжение ознакомиться с местностью выполнил.

Я развернул свои съемки и коротко изложил суть дела. Об Анапе—ни гу-гу. Гришин по моему поручению доставил Рогову две фляги доброго анапского вина и пяток кефалей. «Откуда?»—«Да тут один родственник проезжал...» Рогов промолчал, но посмотрел на Гришина внимательно. Только после я узнал, что в тот день вечером Рогов пригласил своего друга—командира батареи и внушал ему:

— Ведь что значит образование! Смотри на съемки. Это тоже понимать надо.

Не более как через неделю ребята подарили мне наган и лошадь, которую они окрестили именем Пыльная за чудесную ее рысь. Я не спрашивал, какое отношение имеет к этому Рогов, а он не любил много рассказывать.

И я прочно вошел в боевую семью и узнал такую дружбу, которая не каждому дается в жизни.



Шмель

Тот, кто подходит к войне как ученый или как крупный штабной работник, видит ее в больших обобщениях. Как на карте генерального штаба, возникают перед ним схемы фронтов и операций, испещренные жирными красными и синими стрелками, то рвущимися вперед, то хищно забегающими с флангов.

Мы, простые солдаты, обычно вспоминаем погибшего друга, холодную ночь в боевом охранении, кашевара Федьку Мухина—и не что-нибудь, а как Федька прорвался через разведку противника и с разбойным свистом доставил нам, укрепившимся на кургане, горячую кашу (и смеху было!).

Великие идеи, вдохновляющие нас, находились в сложном взаимодействии с нашим бытом. Настоящие военные вожди знают цену всем мелочам солдатского быта и понимают, какой несокрушимой силой могут наполнять эти мелочи то, что легкой стрелкой ложится на карту.

Ушли в далекое прошлое бурные годы гражданской войны... Вспоминаю я Шмелева. Нет, в это время он уже не был командиром батареи. Кончилось его командирство тем, что подобрали его разведчики у разбитой полевой пушки изувеченного, считали, что мертвого. Отдышался, понимаете ли! И вот теперь Шмелев — завхоз дивизиона. Ничего, что правая нога у него короче левой и нет четырех ребер. Этот маленький человек обладает непостижимой живучестью. Его круглое рябое лицо вроде бы и не выразительно, но нос задорно поднят вверх, близорукие глаза всегда сощурены и глядят остро и весело. Всем своим видом напоминает Шмелев весеннего драчливого воробья.

После закончившихся непрерывных боев мы отдыхали в тихих и сытых кубанских станицах. Но вот беда: всё у нас поизносилось.

Наша молодая республика — это вам, товарищи, понимать надо — напрягала тогда все свои силы в борьбе против мирового капитала, и к ней у нас претензий никаких не было. Но вот Шмель, черт его подери,— зачем он все полученные сапоги в первую батарею отослал, а нам ничего не дал: ни команде разведчиков, ни хозяйственной, ни артиллерийскому парку?

Словом, у нас во дворе штаба целый митинг, благо делать нечего, солнышко светит так, что хоть гимнастерку снимай, а военком и политруки уехали в штаб дивизии, и некому нам рассказать что-нибудь о международном положении. Собрались, кажется, все. Курим, разговариваем, шумим помаленьку. Но уж кто шумит вовсю, всерьез, от всей души, так это Бабурин. Этого огромного парня к нам прислали на днях как пополнение. Он потрясает своими кулачищами, лицо его покраснело от натуги, рот широко открыт: «Даешь Шмеля!» Против Бабурина сидит на колоде старший разведчик Иван Фомич Андреев. Он не спеша свертывает папиросу, добродушно усмехается в свои большие усы, любуется на разъяренного Бабурина: «Здоров! Ну и здоров же парень!»

Наконец на крыльцо выходит Шмелев. Он держит какие-то ведомости и пробует изобразить на лице торжественность. Но ничего из этого не получается. Иван Фомич радостно ему подмигивает: «А ну, друг, попарься!» Старые друзья-разведчики еле соблюдают серьезность. Шмель лукаво сверкнул глазами в их сторону. А ведь, правду говоря, если бы не они, оставаться бы ему тогда у разбитой пушки на корм воронам.

В углу двора, где Бабурин, шум усиливается. Шмелев поднимает руку. Крики: «Тише! тише! Да замолчи ты, черт!»

И Шмель начинает:

— Я, товарищи, доложу вам о вещевом довольствии. Конечно, товарищи, всякая шваль свою шляпу хвалит...

— Га-га-га! Хо-хо! Уж Шмель скажет! Тихо! Продолжай, Шмелев.

Бабурин так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой и с большим опозданием разразился мощным «Гы-гы-гы». Тут уже все грохнули, а Бабурин, сделав-

шись центром общего внимания, вдруг обиделся, замолчал, надулся.

Минут десять докладывал Шмелев, размахивая ненужными ведомостями, но не выдержит ни одна бумага в мире, если записать на ней этот невероятный доклад, прерываемый запорожским хохотом.

Но вот Бабурин, незаметно протискавшийся к самому крыльцу, завопил:

— Ты лучше скажи, зачем все десять пар сапог в первую батарею отослал? Ты думаешь—мы не знаем! Мы всё знаем!

Шмелев замолчал, окинул взглядом наш необычный митинг (эх, товарищи мои дорогие!) и среди наступившей вдруг полной тишины просто сказал:

— А я, друзья, полагал так. Ведь они там, в первой батарее, такие же босые и, если им не дать, подумают, что вот мы здесь около штаба получили сапоги и себе оставили. Полагал я, товарищи, что вы свои ребята, не осудите меня, старого дурака, и можете подождать...



Он замолчал. Молчали и мы...



Шмелев спустился с крыльца и встал против Бабурина.

— А ты, друг, как тебя звать-то? Семеном? А ты, друг Семен, силен! В пехоте был? Жирно ей, пехоте, будет таких богатырей держать. Из тебя четвертый номер получится. Пушку при наводке вправо-влево подавать — поискать такого. А ну, давай в шмеля сыгранём.

Не знаю, сам ли Шмелев придумал эту игру, и она называлась его именем, или здесь было случайное совпадение, но был Шмелев в этой игре чемпионом. А игра, надо сказать, требует смелости, острого глаза, быстроты. Стоите вы против партнера, слегка присев и выставив на уровне лица руку, и гудите, как шмель «ж-ж-ж». Рукой при этом следует делать мелкие движения, чтобы обмануть партнера. Цель—шлепнуть партнера по щеке. Сильно размахивать не рекомендуется: этим вы откроете свою физиономию и получите затрещину. Откроете вы лицо и при быстром коротком взмахе, но, может быть, ваше счастье—успеете вернуться к защите. Что и говорить: шансы равные, и обижаться не приходится.

Бабурин уже наблюдал нашу популярную игру и понял ее правила, но чтобы он овладел этим искусством — мы сомневались. С веселым спортивным интересом окружила братва необычную пару: маленького сияющего Шмелева и огромного неуклюжего Бабурина.

— Только ты, друг, меня не жалей,— говорит Шмелев, заводя свое шмелиное «ж-ж-ж».

Вот была потеха! Нащелкал наш Шмель озадаченному новичку.

— Всё! Хватит! Замаял ты меня! — вдруг объявил Шмелев. Потом он, как полагается в спорте, пожал побежденному руку и задумчиво уставился на его огромные ноги, обутые в какую-то невероятную рвань.

— А сапоги, браток, на себя и не жди. Нет таких сапог во всей армии.

И вдруг Шмелев не сказал, а скомандовал:

— Товарищ Хохряков!

— Здесь, товарищ Шмелев! — вышел и ловко щелкнул каблуками знаменитый во всей дивизии сапожник. А еще больше потрясал нас Хохряков своим деликатным обращением.

— Снимите, товарищ Хохряков, мерку и сшейте товарищу Бабурину сапоги. Сообразите, товарищ Хохряков, из чего и как. И чтобы был у нас товарищ Бабурин настоящим артиллеристом!

— Есть сообразить! Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

Шмелев ушел.

Собрание разбилось на мелкие группы, поредело, растаяло. У каждого дела и заботы, жизнь идет своим чередом. Никто не смеялся над Семеном,— как можно! А он вдруг стал серьезен и задумчив: еще во многом, должно быть, надо было ему разобраться.

— Пожалуйте в мастерскую, товарищ Бабурин,— форсит Хохряков.— Я с вас мерочку сниму. Соберем вам сапожки.

И уже в воротах Хохряков продолжает:

— И расскажу я вам, товарищ Бабурин, кто есть знаменитый красный командир артиллерии Шмелев.

Начало пути

Нас тогда, в сорок первом году, было тысяча человек. И прав был старый солдат и офицер Месяцев, назначенный командовать нами, когда после целодневной маяты, собрав своих помощников, ворчал:

— Ну, что я с вами, братцы, делать буду? Как и назвать вас — не знаю. Батальоном? — за армию обидно. Артелью?— так вы же в армии на всех видах довольствия состоите. Вооружены вы лопатами, одеты не по форме, выправка у вас... Ну, вот ты, Мольков,— ну, какая у тебя выправка?

Мы невольно рассмеялись, глядя на озадаченно привставшего техника Молькова, который очень напоминал куклу, вылепленную из снега: этакая комбинация из шариков.

Но мы старались, черт возьми! И те, кто остались живы, помнят эти ранние холодные осенние утра, пасмурные дни, свинцовые вечера, помнят плотные подмосковные глины, сцементировавшиеся с мелким булыжником, и непрерывное мелькание наших лопат. День, другой, третий... Короткий мертвый сон где-нибудь в шалаше, на сеновале —не важно, какая-нибудь крыша над головой,— мучительная пытка подъема с острой болью во всем теле и снова копать, копать... На этих рвах должны застрять вражеские танки!

Все чаще раздаются через рупоры радиосети предупреждения о том, что в направлении на город летит столько-то фашистских самолетов. Нам мало помогает этот добросовестный наблюдатель: и без него видно,что летят, и летит их все больше и больше. Мы уже знаем, когда надо лечь, застыть, притвориться камнем, кустом, слиться с кромкой рва или канавы. Но мы так и не узнали, случайно или заметив кого-то неосторожного, сбросил воздушный бандит бомбу, убившую пятерых из тысячи. Первые потери.



Настали дни, когда через нашу далеко растянувшуюся цепочку, как сквозь сито, стали процеживаться ползущие с запада клочья отступающих воинских частей. С удивлением смотрели на нас вконец усталые люди. И нам было понятно их состояние: они вдруг увидели, что не всё потеряно, что здесь сопротивляются. Многие, что-то до конца решив, спрашивали: «Где, товарищи, сборный пункт?» — и мы показывали им направление: там формировались новые роты. Мы давали таким товарищам закурить, делились с ними хлебом. «Ничего, друзья, война еще только начинается».

Но каждый день нес новую тревогу.

Прекратилось движение отступающих. Значит «там» больше никого нет. Промчалось десятка полтора машин, теряющих на пути катушки ниток, куски материи. Это испуганно бежала какая-то запоздавшая швейная фабричка.

А вот и подлость с осклабившимся гнилым ртом. По перемычке между двумя рвами идут «оттуда» три бабы (пусть светлым останется во все дни нежное слово «женщина»!). И одна из этих баб слюняво шепелявит:

— Что уж тут копать-то... Вот что в листовках-то пишут: «Не копайте ямочки: придут наши таночки,

затопчут ваши ямочки». Ну, это уж ее беда, этой самой тетки, что нарвалась она на самого Месяцева. С побелевшими глазами, тихо и яростно он сказал командиру взвода Рябову:

— Товарищ Рябов! Внушите.

И Рябов «внушил». После этого черные предвестницы врага ушли молча, съежившись, боясь оглянуться.

— Копать, товарищи, копать...

Месяцев отошел в сторону, подозвал меня.

— Сходите на станцию, разведайте, как там и что.

Наша связь со штабом, очевидно, нарушена. На станции ничего утешительного. В нехорошей суматохе грузится эшелон, оказывается — последний. В стороне пристроились несколько пулеметчиков и деловито расстреливают баки с горючим. В такой обстановке на станциях не задерживаются, и, отойдя с километр, я убедился в этом. Звено вражеских бомбардировщиков уже тянуло туда. Не знаю, ушел ли эшелон и справились ли пулеметчики с задачей — уничтожить горючее. Но, пожалуй, самое сильное впечатление произвела на меня встретившаяся группа служащих, идущих рядом с небольшим обозом. Что-то спокойное и торжественное было в этом неспешном движении: полная и непоколебимая уверенность в завтрашнем дне. Это самое прекрасное, что только может повстречаться в такую горькую минуту.

На окраине городской слободки стояла машина, а перед ней «по стойке смирно» — Месяцев.



— Не имею приказа, товарищ...— и Месяцев назвал весьма высокий ранг.

Сидевший в машине седой человек, глядя из-под нахмуренных бровей, спросил:

— Много воевали?

— Двадцать два года...

Начальник написал что-то на своем бланке, твердо и четко расписался и сказал:

— За мной уже никого нет. Проверяю последнее... Рад, что вас встретил, не просмотрел. Вам тут больше делать нечего. Вот приказ и маршрут. До свидания, товарищи!

Когда мы подошли ко рвам, там все еще продолжали взметать комья земли. Месяцев поглядел на уходящую вправо и влево линию противотанковых сооружений, на ползущий от горизонта холод и мрак и сказал:

— Тридцать два дня такой работы! Из этих людей будет толк, помяните мое слово. Это настоящая воинская часть... Ротные командиры и политруки — ко мне! Построить батальон!

И в торжественной тишине, соблюдая равнение и стоя «смирно», выслушали вчерашние землекопы, а сейчас воины, краткое слово:

— Товарищи! Наша работа здесь закончена. Работали хорошо. От лица командования спасибо за службу! — и, после разрозненного ответного гула, комбат добавил: — Мы получили новое боевое задание. Двигаться будем в направлении Москвы. На сборы даю полчаса. Соблюдать строжайший порядок. Помните, что острая лопата — это сильное оружие. Командиры рот!..

В абсолютном молчании по темным улицам словно умершего городка — ни огня, ни звука — в плотных рядах прошла тысяча человек на Московское шоссе. И по этому тоже мертвому, уже замерзающему, шоссе шли упорно, почти не останавливаясь, пока не показались признаки жизни: одинокие и кучками пешеходы, машины, мотоциклы. Здесь мы закурили и всей грудью вздохнули родным воздухом, еще не загрязненным зловонным дыханием надвигающегося зверя.

Так начался наш боевой путь.

„Как сделать мышеловку“

Разбираясь в своем книжном шкафу, Софронов нашел письмо, присланное им с фронта сыну.

«Милый Федя! Мама жаловалась, что в подполье мыши портят картофель. Сделай мышеловку. А делается она так...»

Далее следовал набросок мышеловки с очень простым и в то же время чутким механизмом. «Как только мышь потянет приманку, чека выскочит, пружина сработает, и—мышь попалась». Письмо кончалось не совсем понятно: «Это—вроде сюрпризов».

А было вот так.

В землянке тишина. Майор Софронов в глубокой задумчивости склонился над столом. Сделанная из большого патрона горелка освещает письмо и этот самый набросок мышеловки.

Отчего подорвался лучший минер роты знаменитый Зарубин? Ведь это он же сам снабдил всякими «ловушками» десятки фугасов, заложенных под одной из фронтовых магистралей. И если бы враг обнаружил фугас, то вряд ли смог бы его разминировать. Всё здесь грозило смертью. Попробуй передвинуть любую, казалось бы случайную вещь, предательская незаметная проволочка потянет за чеку взрывателя, и — конец всему. Такие хитрые приспособления назывались сюрпризами. Эти фугасы с сюрпризами готовились для врага, но вот враг бесповоротно отбит, и теперь они опасны уже для нас. Сам Зарубин легко устранял свои сюрпризы, но на пятом фугасе... Отчего, в самом деле, он погиб? Где не поостерегся?

Рядом с письмом сыну лежит чертеж шестого фугаса. Плохой, неразборчивый чертеж. Есть отметка, что сюрпризов три, а начерчен один и плохо начерчен, «для себя». Эх, друг Зарубин, сильно же верил ты в свое бессмертие!



В дверь постучались. Вошел техник Кожевников.

— Смотри! — и Софронов придвинул технику чертеж фугаса.

Техник долго рассматривал чертеж, потом поднял глаза, встретил спокойный и грустный взгляд начальника, понял всё и побледнел. Оба молчали. Тишина стала невыносимой.

— Ты понимаешь, Володя, — мягко сказал Софронов,— поручать этот фугас ребятам нельзя: смерть Зарубина их смутила, да и чертеж — сам видишь...

Техник молчал.

Софронов внимательно смотрел на него, потом опустил седеющую голову: «Совсем молодой! Сынок...» Потом вдруг выпрямился и спокойно и четко сказал:

— Подготовьте отделение, машины, питание на два дня. Разминирование произведу я. Больше ни на что меня не отвлекайте. Выезжаем в семь ноль-ноль. Можете идти.

Кожевников что-то хотел сказать, спросить или объяснить, но Софронов «сделал» сухое лицо и непонимающие глаза, будто и не было между ними того красноречивого молчания, будто речь шла о каком-нибудь учебном выезде.

Софронов опять один. Вот он медленно сложил зарубинский чертеж, потом взглянул на письмо к сыну.

Тогда-то он и сделал приписку: «Это — как сюрпризы». Спать! И по фронтовой привычке хватать сон тогда, когда можно, он уснул.

Помнит Софронов, как туманным холодным осенним утром он подъехал к «объекту», построил минеров и отдал им последние распоряжения.

— Никакого движения по шоссе не допускать. В случае упрямства проезжающих водителей, коротко разъясните, а если не послушаются — действуйте решительно и твердо. Ясно, товарищи?

— Есть не разрешать,— ответил за всех техник.

— Вам, товарищ Кожевников, находиться за этой насыпью, вот здесь. По моему свистку являйтесь ко мне... за сюрпризами.

А затем настало полное одиночество, полная отрешенность от всего мира и самая острая сосредоточенность.

Финским ножом, слой за слоем разрыхлял Софронов грунт и счищал его руками. Каждая случайная проволочка, каждая железка, возможно, таит в себе гибель. И вот на глубине метра—полено. А ведь это его изобразил так неряшливо Барулин. Именно здесь, под поленом, и был скрыт первый сюрприз. Горе тому, кто сдвинул бы полено с места. Майор осторожно подкопался под полено и изъял сюрприз. Первая встреча с Кожевниковым, короткая запись. И опять один...

Помнит майор, как на глубине открытого колодца



он пролез в траншею, идущую под шоссе, как лежал он на взрывчатке, освещая карманным фонарем это царство смерти, как не оставляла одна неотступная мысль: почему погиб Зарубин?

Вот ящик со взрывчаткой. Приглядевшись к гвоздям, Софронов понял, что ящик вскрывали, а потом опять закрыли. Ясно! В ящике второй сюрприз. Ящик нельзя ни двигать, ни вскрывать, а надо разобрать его по частям. Есть. Ох, не спеши, мышь, не тяни приманку!.. Осторожно острижены проволочки, крепко задвинута чека во взрывателе, и техник получает второй сюрприз...

На седьмом часу работы найден и третий.

Когда майор поднялся в третий раз и передал Кожевникову последний сюрприз, тот радостно спросил:

— Разрешите распустить табор?

— Что за табор? — Но, взглянув вдоль шоссе, Софронов увидел с той и другой стороны от «объекта» за примитивными шлагбаумами множество машин.

Два встречных потока двинулись мимо, и бывалые люди фронтовых дорог приветствовали майора.

Пока минеры выгружали взрывчатку, ставшую без взрывателей безопасной, Софронов спустился с насыпи к речке и умылся ледяной водой, которая, казалось, только приятно чуть-чуть холодила. Хотелось без конца глядеть на деревья, на каждую тончайшую веточку, на туманные осенние дали, раскинувшиеся за речкой...

Когда майор подошел к машинам, то все уже были на местах. Но никто не докладывал о готовности. Только глаза, устремленные на него в торжественном молчании, сказали такое, что он поспешил сесть в кабину, крякнул и сказал шоферу совсем по-домашнему:

— Ну, поехали...

Кто отправил это письмо? Оно, помнится, осталось тогда в землянке.

И вот столько лет спустя мы читаем о том, как сделать мышеловку.

Разговор по-французски

Кажется, нет такого, даже самого маленького, события, в котором сержант Гаврилов не нашел бы предлога для веселья. Вот и сейчас...

Мы только вчера с боем ворвались в этот городок. Сегодня здесь необычно тихо. Кое-где еще горят отдельные здания, и их деловито, спокойно и удивительно быстро гасят выделенные для этого команды бойцов. Сержант Гаврилов ходит по городку в своей неизменной плащпалатке, с автоматом, без которого его как-то даже трудно себе представить. Его слегка сутулую сильную фигуру можно узнать издалека. Гаврилов везде находит себе дело и везде полезен.

Между офицерами и такими «старыми» солдатами на почве крепкой боевой дружбы создаются особые отношения: тонкое сочетание товарищеской простоты со строгой исполнительностью.

К нам в штаб Гаврилов явился подтянутый, как на парад. Он четко откозырял майору Малахову и сказал:

— Товарищ майор! Разрешите обратиться.

— Докладывайте,— вяло ответил майор.

— Двоих французов привел.

Майор поднял от карты усталые глаза, и взгляд его очень красноречиво выразил: «Ну, что там? Всё еще не угомонился?» Потом он, вздохнув, положил на стол свой расшитый барашками и зайчиками кисет:

— Садись, сержант, рассказывай. Закуривайте, товарищи.

Но когда Гаврилов начал рассказывать, нам стало не до куренья.

— Вышел я к самой окраине, а там, с полкиметра будет, уже лесок начинается, болото по обе стороны — скучное место. Только вижу: движутся по шоссе от лесочка четыре фигуры. Стою, жду. Подходят ко мне — и, заметьте, совсем разные люди. Двое низеньких,



черненьких, небритых. Такие черномазые. А глаза, как изюминки, и веселые. Шинельки на них коричнево-зеленые, с загаром, полы подоткнуты. И навешано на этих парнях котелков всяких, банок, кружек, а на груди бляха с номерком. Из плена выбрались — потому и веселые.

А двое других — высокие, белокурые, молодые тоже. Только шинели на них сине-зеленые и вообще сразу видно, кто такие. И глаза у них — нет, не те глаза! Беспокойные глаза. А лица, ну, верите ли, даже красными пятнами пошли. И вот они, эти высокие, всё что-то моим черненьким внушают, просят о чем-то. Ладно, думаю, разберемся.

«Кто такие?»

И тут черненькие так резво заговорили... А я стою и слушаю. Англичане, думаю. Нет. Я в средней школе английский учил, узнал бы.— «Румыны?» —Головами качают и опять «тра-та-та-та».— «Стой!» —говорю. И сам думаю: «Уж не французы ли?»

А по-французски я знаю только одну фразу. Когда моя сестренка занималась французским языком, то именно эта фраза поразила меня своей бессмысленностью: «Авэ-ву лё шапо сюр ля тэт?» «Имеете ли вы

шляпу на голове?» Ну, не смешно ли спрашивать у собеседника о том, имеет ли он на голове шляпу? А, думаю, куда ни шло: «Авэ-ву лё шапо сюр ля тэт?» А они как схватятся за пилотки...



Мы не выдержали, мы расхохотались. Особенно громко смеялся майор. Он закашлялся, просыпал табак, замахал руками:

— Ох! Ты меня уморишь! Так, значит, за пилотки?.. Ха-ха-ха!..

— Ну, да! И смотрят на меня удивленно. Ясно же. Хоть у вас спроси такое—удивитесь! И опять они мне по-своему. «Погодите, —говорю,— ребята, я вам откровенно: я ведь больше ничего не знаю. Не учил. Вот и вы, значит, тоже по-русски не учились. А может быть, учились, только двойки получали?» А они—до чего ж понятливые—смотрят на меня: видно же, рады бы всей душой... «То-то вот,—говорю,—сами видите, что с двойками далеко не уедешь».

А те, белесые парни, ну не стоят на месте, всё норовят французам о себе напомнить: «похлопочите, мол». А я ведь их сразу понял, чего они суматошатся: сами в плен хотят, за жизнь свою опасаются. «Стоять смирно!» — и на свой автомат показываю. Присмирели. «Дайте,— говорю,— потолковать с ребятами».

«Ну,— спрашиваю,— как же вы, французы, к Гитлеру в плен попали? Откуда вы? Город, там, деревня?» А потом смекнул — из географии вспомнил — и стал перечислять: «Париж, Гавр, Руан?»

Вот тут один головой закивал, смеется. «Руан,— говорит,— Руан!»

«А ты?»

Ну, этот уж сразу отвечает: «Булонь».

«А стихи какие знаете?»

Заминка.

«Ну, слышали Беранже?»

«О, Беранже! О, Беранже!»

«Ага! Читай Беранже. Ну вот ты, друг, читай. Да не стесняйся...» И опять-таки понял! Залепетал, залепетал. Я склонился, слушаю,— складно. Вот, говорю, и хорошо, вот и потолковали мы с вами по-французски».

— Стой!—кричит майор, перекрывая наш смех.— Стой, помолчи ты хоть минутку.

Просмеялись.

А сержант Гаврилов как ни в чем не бывало продолжал:

— Тут я спрашиваю у французов: «А эти кто?»

Смутились ребятишки. Вижу, ох, вижу: не хочется им врать. Однако объясняют: «Ле оляндэ».—«Голландцы?»—Кивают, а сами смущаются еще больше. «Ладно,— говорю,— я и без вас вижу, какие такие они голландцы».

Идет мимо наш Лазарев. «Веди-ка, Лазарев, этих двоих высоких на сборный пункт. Скажи там: сдались в плен. Голодные, скажи».

— Погоди,— вдруг схватился майор, а французы где же?

Сержант Гаврилов встал, откозырял:

— Здесь, товарищ майор, у ворот со старшиной беседуют.

— Так чего же ты молчишь?

Новый взрыв хохота.

— Веди, веди скорее сюда.

— Есть вести сюда.

Спустя десять минут, мы сидели уже молча. Сержант Гаврилов стоя почтительно прислушивался, как в соседней комнате майор Малахов беседовал с французами. Его французская речь была медленна, но это только придавало ей особую душевность.

Когда майор провожал гостей, они, увидев Гаврилова, подошли к нему и по очереди крепко пожали ему руку. Лица их были серьезны, а в глазах у них почему-то стояли слезы.

Говорят, что французы народ чувствительный...

Инженер Озеров

Командир батальона инженерных войск Николай Иванович Озеров в веселую минуту говорил, что он единственный человек, который не был призван в армию, но и добровольцем тоже не вступал, а так вот «развоевался и не остановишь».

Когда противник прижал нас вплотную к Москве и народ напрягал все свои усилия в чудовищной борьбе, когда каждый старался что-нибудь сделать, чтобы остановить захлестывавшую нас железную лавину, Озеров, крупный московский инженер, высказал командованию некоторые соображения по организации обороны. И вот на одном из участков каждый день стал появляться этот распорядительный человек, и закипела вокруг него энергичная и слаженная работа.

Много подобралось сюда московских рабочих, разных специалистов, которых сам же Озеров по каким-то одному ему известным качествам разыскивал в военкоматах. «Помилуйте, да мы с ним на строительстве...— Далее следовали место, год и что-нибудь такое, чем доказал человек свою незаменимость,—и что там говорить: немедленно отчисляйте его, товарищи, в мою группу». И отчисляли.

Странная это была группа. Действовала она исключительно четко, но командир взвода около Озерова както незаметно превращался в сменного инженера или начальника цеха, командиры отделений—в бригадиров. Этакое необыкновенное сочетание воинской исполнительности и самых штатских порядков.

Все реже отлучался Озеров в Москву, все чаще обращались к нему не как к консультанту, а как к командиру. И какой еще нужен командир! А потом, когда нарастающая волна контрнаступления подхватила всё, что было сильным, всё, что по-настоящему умело любить и ненавидеть, когда в авангард вырвался цвет

армии, цвет народа,— перестроил Озеров свою технику из оборонительной в наступательную, и дорого обходилась противнику встреча с этой грозной боевой частью!

Капитан Ракитин, кадровый офицер, военный-профессионал, был назначен в батальон Озерова в качестве начальника штаба.

— И вот, что я вам скажу,— заметил полковник, инструктируя Ракитина,— сделайте вы из них военных людей... Ну, понимаете, чтобы дух воинский ощущался, а не так, что не то сержанты, не то десятники какие-то». Полковник был старым военным служакой и не терпел десятников вообще.

В израненном фронтовом лесу Ракитин нашел занесенные снегом землянки и явился к майору Озерову. Николай Иванович Озеров сидел на чурбаке за столиком, а перед ним стояли три сержанта в полушубках, валенках и ушанках. При появлении Ракитина—а Озеров его ждал — все молниеносно подтянулись. Майор постарался изобразить на лице воинственную суровость. Но как ее изобразить, когда нос торчит валенком, белесые брови упорно лезут вверх, вместо того чтобы грозно сойтись у переносицы, а смятые губы улыбаются — и всё тут. А если сказать о голубых, как весеннее небо, глазах — то на них лучше не смотреть: сам рассмеешься. Что касается вытянувшихся сержантов, то хорошо, что не видит сейчас полковник этой их выправки.

— Разрешите идти, товарищ майор! — отчеканивает один из сержантов.

И тут Озеров испортил всё. Продемонстрированный воинский дух так его самого растрогал — ведь смотрите ж, каковы мы молодцы! — что он забыл ответить сухим командирским: «Идите». Лицо его расплылось, глаза с лаской и умилением смотрели на «десятников». И уже окончательно по-штатски он сказал:

— Погоди, Иван Фомич. Давайте закурим. Здравствуйте, товарищ капитан! Вот, посмотрите,— никак этих орлов подходу-отходу не научу. Бросить бы мне их тогда под Москвой, да как бы они без меня прожили.

— Пропали бы, Николай Иванович,— басит, закуривая и добродушно посмеиваясь, Иван Фомич,—честное слово — пропали бы.

— Ну, теперь держитесь! Капитан вас подтянет.

Подтягивать не пришлось. «Десятники» и «бригадиры» легко усваивали военный лоск, весело «подходили» и «отходили», равнялись и приветствовали. Но, много лет спустя, мысленно перебирая путаные маршруты своего батальона, Ракитин вспоминал не эту дисциплину. Он помнил ту дисциплину, которая особенно проявлялась в часы и минуты выполнения опаснейших боевых заданий, когда в общем напряжении всех физических и духовных сил каждый делал свое дело, находил свое место при неожиданной перемене обстановки, верил, что сосед не подведет, что сосед выручит и поможет.

Особенно памятна Ракитину зима на полях Смоленщины. Здесь всё было разрушено, ничто не мешало снежным метелям бушевать в ледяной пустыне, и только неровности снежных наносов отмечали места бывших сёл и деревень. Здесь пролегала в ту зиму линия обороны.

Вот тогда и развернулась вовсю изобретательность Озерова и его товарищей. И кто бы мог подумать, что вот под этими сугробами, в оврагах и рытвинах, рядом пройти — не заметишь, горят электрические лампы, и за большим столом склонились над схемами и чертежами Озеров и Ракитин. Именно здесь получил Ракитин лестное для него признание, когда после решения одной сложной задачи Озеров, сморщив лицо в улыбке и сияя голубым светом своих необычайных глаз, сказал:

— Ну, вот, капитан, мы под вашим влиянием стали военными, а вы около нас стали инженером.

Батальон незаметно перенес свою деятельность за передний край и получил у пехоты прозвище «ночные духи».

Почти каждую ночь Озеров и Ракитин в маскировочных белых халатах бесшумно проползали в снежную настороженную тишину «ничейной земли».

Скоро в большом штабе было отмечено, что на этом участке разведка противника полностью подавлена, терроризирована «ночными духами».

Тогда полковник решил всё проверить «своими руками». Молчаливый и сосредоточенный, внимательно осмотрел он всё сложное «хозяйство» Озерова, попросту

потолковал с «ночными духами», а ночью вместе с ними проник за передний край.

Странное впечатление производила в такое время «ничейная земля», где линии наша и противника то расходились, то сближались так, что слышны были голоса. Как всегда, над линией противника одна за другой взвивались и сгорали ярким медленным огнем осветительные ракеты. А наша линия была темной. Как будто вся страна, скопив в сердце скорбь и гнев, сурово смотрела оттуда, и страшен был этот взгляд...

Вот повисла вверху очередная ракета, и кажется, что виден ты весь, как на ладони. Но «духи» уже имеют опыт и моментально застывают в абсолютной неподвижности—поди, разбери в ночном белом мареве, что там такое. Когда сникает свет, можно в течение минуты—двух до очередной вспышки перебежать, переползти.

По возвращении из ночной разведки полковник сказал Озерову:

— Ну что ж, хорошо!—Затем пожал руки всему штабу, о чем-то на минуту задумался и опять повторил:—Хорошо.

Озеров и Ракитин проводили полковника. До машины, укрывшейся за косогором, шли молча. Но когда полковник садился в машину, Ракитин спросил:

— Товарищ полковник! Как вам понравился воинский вид батальона?

Полковник спокойно взглянул на капитана и тихо ответил:

— Не хитри...

Так вот и жили...

Но всему бывает конец.

Это случилось уже на Немане. Противник откатывался на запад. Надо было не дать ему задержаться, надо было непрерывно его поджимать.

На одном из участков фронта противник, переправившись через Неман, взорвал за собой мосты. Наша пехота следом форсировала реку. Много ли пехотинцу надо? Спросите его, на чем он переправился, и он ответит: «на честном слове». Но вся стальная мощь дивизии: пушки, танки, гвардейские минометы—всё осталось на этом берегу.

Озеров получил боевое задание: построить мост



в два дня. Хоть из земли зубами вырвать, а построить.

Все понимали, что значит для дивизии такой мост. Но... понимал это и противник.

И вот начались два памятных, два чрезвычайных дня.

То, что помнит Ракитин, нельзя назвать трудовым подвигом: это было значительнее, неизмеримо больше, это не имеет названия. Как в сказке, стал расти между двумя берегами деревянный мост.

К концу первого дня противник обстрелял переправу из дальнобойной пушки, и это было уже плохим признаком.

Следующий день, как на грех, выдался ясный, солнечный. Озеров с рассвета распоряжался на переправе. Штаб батальона расположился на пригорке,

в роще, в километре от берега. Капитан Ракитин с помощниками «гонял» машины за материалами, которые откуда-то подтягивались к этому участку.

День был в разгаре, когда Ракитин на одной из машин подъехал к Озерову:

— Николай Иванович! Дай мне десять человек на разгрузку... и старшину... и подпиши сводку...

— Бери. Подписывай сам. Гони настил. Скобы гони.

Стоял Озеров в окружении своих гвардейцев на ярком солнечном свету, без фуражки, с откинутыми назад белокурыми волосами. Открытое умное лицо его было серьезно, глаза глядели остро. Таким и запомнил Озерова на всю жизнь капитан Ракитин.

Когда машина подъехала к роще—долго ли тут,— шофер затормозил и с тоской проговорил: «Прилетели». Ракитин оглянулся. В синем ласковом небе—эх, только бы жить да радоваться,—в синем небе летело звено белых вражеских бомбардировщиков, таких маленьких и как будто безобидных. И уже совсем игрушечными показались отделившиеся от них бомбы.

— Бомбят!—в отчаянии вскрикнул шофер.— Переправу бомбят!

Ракитин приказал всем слезть с машины, быстро отдал распоряжения. Уже бежал к машине врач Борис Стрельцов и еле поспевали за ним санитары с носилками, сумками...

Навстречу брели и в одиночку, и группами, поддерживая друг друга, раненые. Эти дойдут сами.

Огромная страшная воронка дымилась на том месте, где только что стояли, жили, горели неугасимым огнем славы Озеров и его верные друзья.

Ракитин встал рядом с воронкой и скомандовал:

— Продолжать работу!

Место каждого погибшего занял его помощник. Работа продолжалась. Казалось, еще быстрее замелькали машины, и поток материалов уже в избытке ринулся сюда из глубины фронта.

Но не слышно было ни обычных шуток, ни смеха. Люди старались не смотреть друг другу в глаза.

Нет больше Озерова...

На рассвете, в розовом тумане, мокрые, оборванные и почерневшие стояли озеровские гвардейцы вдоль перил своего моста, а мимо грохотали пушки и танки.

И уже через полчаса загремел на том берегу железный гром.

На переправе стало тихо, как на кладбище...

На высоком обрыве над Неманом, среди застывших в почетном карауле сосен, до сих пор вы можете видеть холм, на котором прочно водружен массивный деревянный памятник. На нем надпись: «Здесь погребен гвардии майор инженер Озеров и его гвардейцы, геройски погибшие в бою за Родину. Запомните их имена!»

А имен тех написано двадцать пять.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Васильевич Скворцов

О ДРУЗЬЯХ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

Редактор *Е. А. Соколова*
Худож. редактор *Л. И. Немченко*
Техн. редактор *Р. Г. Бруликовская*
Корректор *Т. И. Пелевина*

Изд. № 3105. **Подписано к печати 10/I-59 г.**
МЦ 01644. Бумага $84 \times {}^{1}/_{32}$—5,75 (4,715)
печатных, 4,02 уч.-изд. листов.
Тираж 15000 экз. Заказ № 5133.

Горьковское книжное издательство,
г. Горький, Кремль, 2-й корпус.

Тип. изд-ва «Горьковская правда»,
г. Горький, ул. Фигнер, 32.

В 1959 ГОДУ В ГОРЬКОВСКОМ КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫЙДУТ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА:

И. Печерникова. „Ее любовь“, повесть.

А. Бринский. „По ту сторону фронта“, партизанская повесть.

К. Фарутин. „Дом у оврага“, повесть.

„Волжские огни“. Юношеский альманах № 6.

Ю. Тынянов. „Кюхля“, роман.

Г. Матвеев. „Тарантул“, повесть.

2 р. 70 к. 0-20

Горьковское
книжное
издательство
1959